

ISSN 0130-7673

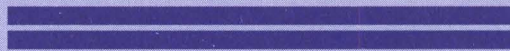
НОВЫЙ МИР

11

НОВЫЙ
МИР

2003

11



2003

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11 (943)

Ноябрь, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ — Герб и дата, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Боржоми, рассказ	11
ЕЛЕНА УШАКОВА — При свете и впотьмах, стихи	28
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть четвёртая (1987 — 1994)	33
АННА ГЕДЫМИН — Легкомысленное окно, стихи	98
ЕЛЕНА ИСАЕВА — Первый мужчина. Театр.doc	103
АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ — Поле сердца, стихи	121

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ ЛИТВИНОВ, АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА — Антигосударственный террор в Российской империи. Исторический очерк	124
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ — Мандельштам и Пушкин. Статья вторая. Лирические сюжеты	152
----------------------------------------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Марина Абашева. Биография свободы. Свобода биографии	172
Ольга Иванова. «Неоспоримой кровью...»	174
Татьяна Касаткина. Метафизический статус: апатрид	181
Михаил Эдельштейн. Олонецкая культура и петербургская стихия	187

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА	190
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	195
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	199

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	206
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	209
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В ЯНВАРСКОМ И ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРАХ
НАШЕГО ЖУРНАЛА ЗА 2004 ГОД
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ РОМАН
ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

(1987 — 1994)

Глава 14

ЧЕРЕЗ НЕПРОДЁР

От того *тёплого ветерка* — ой, долго-долго ещё пришлось ждать. Перекатывались по Советскому Союзу «освободительные перемены», пропагандировалось «новое мышление», — и что-то же, правда, серьёзное происходит там? Вот — не за поход ли против «закрытых распределителей» и других партийных привилегий — снят с московского горкома бурный Ельцин? А Горбачёв произносит обещательные речи, но судорожно держится за власть Партии и за ленинское знамя. И, похоже, искренно. А Министерство иностранных дел вверил главе грузинского пыточного КГБ. Перспективка...

Всё та же шарманка о торжестве социализма и об «интернациональной помощи» Афганистану. Вот — для Запада (интервью NBC): «Когда мы отняли всё у царя и отдали всё народу...» А уж как Горбачёва на Западе все вознесли, и восторженней всех — М. Тэтчер. Ну, после 80-летних глухих инвалидов — кому он не покажется? И кончил Холодную войну!

Только — не на равных условиях: поспешными, услужливыми государственными дарами.

Для такой необъятной страны — не та голова, не та. (Да откуда ж *той* взяться?)

Что он протрубил первое, и от души, это — «Ускорение» (производственной работы всех трудящихся). Но — не взялось, не перенялось, и очень вскоре этот лозунг власть стыдливо сняла, не повторяли.

Второй лозунг — «Перестройка» — заявлен сверху громчайше, — но и подхвачен со встречной надеждой, тысячеусто. А в чём именно она состоит — кажется, и в Союзе никто точно не понял. Вознесли кооперативы (верная и плодотворная форма, самобытно и успешно процветшая в дореволюционной России) — но вскоре же начали их крушить. Разрешили мелкую сельскую деятельность (самое насущное! самое первонужное, верно!) — а на местах тут же кинулись топтать, громить малые, частные ого-

© А. Солженицын.

О к о н ч а н и е. Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, вторая часть — № 9 за 2000 год, третья часть — № 12 за 2000 год, № 4 за 2001 год.

родные парники — как «нетрудовые доходы»... То объявляли демократический выбор заводских директоров и какой-то странный «социалистический рынок», — явно разрушали скрепы прежней системы, — однако ничем живучим не заменяя, — а малым бы предпринимательством, мелкими мастерскими, швейными, сапожными, пекарнями, лавочками, чтоб народ очнулся, наелся, оделся!

Как тревожно от этих метаний.

А с несомненностью оставляли на местах всю прежнюю номенклатуру, да ещё позволяя ей и обращаться деньгами за счёт народного достояния. Всё — ничтожные и партийно корыстные оглядчивые шаги. Да неострый край — всеобщему обласканцу Горбачёву искать пути плодоносных реформ, когда восторженный Запад посыпал ему любые кредиты.

Вкус подлинной новизны реальнее проступил в третьем элементе — объявленной Гласности. (Да приспособлен ли к Гласности сам Горбачёв, если тут же утаивал чернобыльское отравление?)

Но всё-таки — гласность? В самом деле? Гласность, когда-то нами лишь мечтаемая, — и вот начинает осуществляться? Неужели?? Люди сами ещё не верят своей смелости, своим языкам: о чём вчера можно было только шептаться на кухне — и вот открыто, вслух?

Конечно, в печатности ещё очень с оглядкой, ещё в несомненно коммунистических строгих рамках — но можно? неужели можно?.. (Ведь по-прежнему — «освободившиеся» советские газеты клеймят распорядителя нашего Фонда Сергея Ходоровича «ординарным уголовным преступником». А провинившийся в партийном диссидентстве Лен Карпинский вынужден так выражаться в газете: он благодарит за восстановление его в КПСС с сохранением партийного стажа и всю вину за исключение берёт на себя.)

Правда, вот первые реабилитации большевицкого прошлого: Бухарин, Рыков — медленная сдвигка с краю. (Я бы извёлся там сейчас — доказывать опять, что не в одном Сталине дело, нельзя всю жизнь повторять одно и то же. А может, с разгону пройдут и этот рубеж?) Но и: обсуждается восстановление храма Христа Спасителя! — это уже большая перемена в атмосфере.

А в печатности — сперва мелькают, конечно, социально-близкие; потом осторожно о лагерной теме — Владимов; потом о лагерях смелей, смелей в газетах, наконец допущен и Василий Гроссман — и даже Шаламов! Это уже далеко покатило. А всё равно держат жёстко: пока ещё — нигде, никто, ничего против самой-то коммунистической власти.

Но вот уже: п у с к а ю т через границу! Начались свободные визиты! — сперва свежие третьеземгранты, наведаться назад, в СССР; затем и — первые советские на Запад.

И от того — чьи-то встречи, встречи, рассказы, рассказы, рассказы, волна живых впечатлений, — к нам в Пять Ручьёв они прорываются в возбуждённых телефонных пересказах, и в участвовавших «левых» письмах из Москвы, да что-то же отражается и в парижской «Русской мысли», и во франкфуртском «Посеве». А увидишь в любительской видеоплёнке или в кадре телевизионном — живые, вот сегодняшние русские лица, кусок улицы, домá — сердце так и ополоснёт горячим.

И вырастает: на родине (больше в столицах, конечно) — пиры человеческого общения! говорят! говорят! Ещё бы! Изголодались, после десятилетий молчания — все упоены этим правом! И говорят — обо всём совершенно свободно!

Но и такое: говорят-то говорят, да кто же что-нибудь *делает*? что закрепляется *на деле*? Все события — пусть сами собой теперь льются? Ещё ж и Запад благосклонный нам во всём поможет. Поскорей бы у нас стало всё «как у них», как у взрослых!

Общество кипит сочувствием к Горбачёву — но находит, кажется, единственную форму поддержки: соучастие в Гласности. (Да пойдй найди эффективные формы действия — после десятилетий задавленности.) Так и протекает в говорении.

А кто-то — вывинчивается из вынужденного аскетизма — к коммерции: надо ловить, пока плывёт! И такое наблюдение дотекает до нас: прежнее среди интеллигенции «лучше беден, да честен» — что-то уже начинает блекнуть, не котируется.

И прямые письма от наших московских друзей доносят эту тревогу: общество — больно! общество — жалко барахтается, и даже тонет, несмотря на гласность.

И как же это всё мне знакомо из Февраля Семнадцатого! И бескрайний восторг общества. И пьянящий туман надежд. И эта безоглядность выражений. Сколько счастливого долгожданного упоения! — но в нём теряются, искажаются все масштабы. И — небрежение к историческим путям России, безчувствие к её особенностям, безмыслие о каких-либо задачах сбережения их.

А между тем по всему Западу — и Перестройка и Гласность советские вызывали неутраченное ликование. И осенью 87-го затревожились и в западной прессе, вослед эмигрантскому хору (начала «Вашингтон пост», за ней другие): *а почему Солженицын молчит?* такие грандиозные события в СССР — а он молчит? *что это означает?* да впрочем, что он может сказать — «монархист, реакционер и мистик».

Ну да, естественно было ждать от меня восторга от *Гласности*, которую я же призывал двадцать лет назад. Но если я вижу, что все *остальные* перемены ведутся обвально? Мне — страшно смотреть на эти катящиеся события. Что я могу? С одной стороны — счастье, что хоть что-то, хоть что-то под коммунизмом начало сдвигаться. Значит: *против* «перестройки» говорить не время. А с другой стороны, всё *делаемое* (кроме раскачки Гласности) — так несущественно, или недалёковидно, или уже вредно, — ясно видно, что заматывались, пути не ведают. Так и хочется остеречь Горбачёва: «Не пори, коли шить не знаешь».

Но если нельзя ругать и трудно хвалить — что остаётся? Только — молчать. Вот и молчу. (Однако в эйфории восторгов и этого изъяснить нельзя.)

Пора пережога, а всё не жога...

А большие события на родине если не начались, то — начинались, вот-вот разразятся. Давно-давно я ждал их (да ещё с наших лагерных мятежей 50-х годов) — и давно же готовился, «Красным Колесом». Чем больше я охватывался им, тем пронзительнее понимал всю грядущую опасность оголтелого февразизма. Я надеялся и готов был — хотя какими тропами? — «Мартом Семнадцатого» *заклинать* моих единоземцев: во взрыве вашей радости только не повторите февральского заблудия! только не потеряйтесь в этой ошалелой круговерти!

Но как же мне подать на родину голос о том главном, что я, в розысках, потрясённо обнаружил, — об острых опасностях безответственного Февраля? Да вот — и благоприятный поворот. «Голос Америки», который в киссинджеровское время не осмеливался читать «Архипелаг» для советского слушателя; который даже не смел никогда имя Ленина произнести осудительно («советский народ боготворит его»); который, вот в 1985, пострадал от сенатской грозы за передачу в эфир столыпинских глав «Августа», — летом 1987, в зарницах новой горбачёвской политики, предложил мне прочесть серию отрывков из «Марта Семнадцатого», чуть опоздав к 70-летию Февраля.

Как я обрадовался! Потянется живая ниточка в Россию! Вот теперь, когда перестали глушить, — огненную бестолковицу Февраля да живым голосом — прямо в сегодняшний бурлящий СССР.

Только — не «серию отрывков» бессвязных хотел бы я прочесть, а составить для передачи по радио — содержательный, сжатый густок всего «Марта Семнадцатого». Новый, немислимый уровень плотности. Очень заманчиво: перенести на родину по эфиру всю суть затоптанной, забытой Революции, погубившей Россию. Дать представление о спотычливом и разлагательном ходе её. А что для этого придётся? Да резать свою книгу,

четыре тома, — как по живому. Составлять текст не то что из отдельных глав, но даже из малых долей глав, даже из абзацев, пёрышко к пёрышку, собирать только самое существенное.

Очень трудно. Это — как заново ту же книгу писать, много работы. А иначе — не поместится.

Сел работать. Работа оказалась ёмка, трудна и отняла едва ль не полгода. Как достичь цельной картины столь малым объёмом? Над множеством страниц взвешивать: что взять? чем пожертвовать? Как протянуть несколько самых важных линий и самых важных действий? Да, но и — настроений же людских, без этого утерается воздух. И каждая же отдельная передача должна иметь свою законченность смысловую — и точно же уместиться в 23 минуты. (Лишние минуты прочтёшь — могут обрезать, но и своей живой секунды отдать зря не хочется.) Подготовленное — замерял на время, прочитывал вслух. Учился неслышно перелистывать страницы перед микрофоном. И удачная музыкальная заставка сама в голову пришла: из 2-й симфонии Чайковского — вообще спокойной, но *эти* такты поразительно передают революционный напор.

Бригада для записи приезжала к нам из Вашингтона дважды: в октябре 1987 на первую половину, в апреле 1988 на вторую. Записывали на старую технику больших кассет, но с повышенным качеством звука, мне же сделали копии на стандартных малых кассетах, похуже. Так хорошо было подготовлено и отлажено, что ни разу не потребовалось переписывать никакого куса вторично.

И — потекли мои передачи на родину с ноября 1987. Я слушал каждую и ликовал: что — а вдруг? — всё же успеваю и к опасностям нынешним. Что сколько услышат!

...Однако отзывы что-то долго не приходили к нам. Хотя «Голос Америки» дал липовую справку, будто мои передачи «слушало 33 миллиона», — но мы вскоре поняли: да в наступающую Эру Свободы кто там будет, разве по старой привычке, слушать «Голос Америки»? Теперь люди заняты другим: на их глазах совершается ход *сегодняшней* русской истории.

Так что — все мои старания пошли под откос, зря. «Март Семнадцатого» — опоздал-таки к *новому Февралю*.

В сентябре 1987 — повезла Аля Ермолая и Игната в Лондон, каждого на своё ученье. Игнату вот-вот 15, Ермолаю подходило под 17, и было нам грустно: уезжают, по сути, навсегда, в самостоятельную жизнь, уже не будут с нами, под крылом. Но потекли теперь письма от них, хотя и переменчивые по настроениям, но всегда содержательные, чаще от Игната, остро впечатлительного и нередко тревожного.

На первый год устроили Игната жить в британской семье, чопорной и очень стеснительной по распорядку. («Это даже как бы не единая семья, в русском понимании, — писал домой Игнат, — а живут вместе как по заключённому договору, но строжайше выполняемому.») На второй год выпросился жить один, снимая комнату. Но упивался уроками у Марии Курчо, впервые влился в жажду, в наслаждение многочасовой самостоятельной игры на рояле. Само собой — поступил в лондонскую музыкальную школу, на другой год и закончил её. В тот период Ростропович немало бывал в Лондоне, Игнат не раз сиживал на его дирижёрских репетициях, многому учась. Но нелегко выдерживал одинокую жизнь в незнакомой стране, на первую же Страстную неделю прилетел в Вермонт, не пропустил ни единой в нашем приходе страстной и потом пасхальной службы. Следующей зимой и на Рождество.

А Ермолай в Итоне хотя отчасти бунтовал против строгостей распорядка (и за то бывал наказываем) — но, в вермонтской школе постоянно

пригнетённый двухлетним возрастным превосходством одноклассников, притом их сплочённой, в себе уверенной заурядностью, — в итонской интеллектуальной атмосфере Ермолай распрямился, стремительно развивался, стал получать высшие отметки, а по истории — первый в школе среди одновозрастных. Успел попрыгать и с парашютом, продолжал заниматься карате. — А Митя, уже перебравший, буквально своими руками, немало покинутых автомобилей и мотоциклов и с успехом развернувшийся свою моторную мастерскую в Нью-Йорке, — к 18 годам подарил Ермолаю сильно подержанный, но ещё весьма крепкий «бьюик» — и взял его в летнее путешествие своими колёсами через континент, в Калифорнию. Мальчики очень сжились. Ермолай жадно укреплялся от старшего брата, которого и всё нью-йоркское окружение любило за весёлую храбрость, за русское радушие, за неизменное ко всем дружелюбие.

Потёк следующий год.

Митя, ему уже перешло через 25, часто наезжал к нам из Нью-Йорка своим гоном (5 часов езды, он же управлялся за 4), стал привозить друзей и подружек. И только один Стёпа оставался жить с нами в Вермонте постоянно. Он всегда деловит, равномерен в настроении, равнодушен к телевизору, кроме главных новостей. Со мной уверенно кончал работу по моему словарию. И пишущая машинка ему уже ничто — он первый в нашей семье получил компьютер, накинулся его изучать. Меньше всего он берёт от здешней школы (и там не тянется быть «как все», и терпелив к насмешкам), но с мамой занимается русской грамматикой, сам с наслаждением — французским, тянется к латыни. («Какой это пир! — узнавать, узнавать, узнавать!») В приходе составил и расписал по голосам — службы ко всем праздникам церковного года. Пресловутого «переходного возраста» Стёпа нам как будто и не явил, лишь изредка столбово заупрямится.

Подавал Ермолай в Гарвард и Принстон со следующей осени. Приняли оба, выбрал Гарвард. Одновременно и Игнат рвётся вернуться в Америку, учиться дальше здесь. Ну вот, все опять будут неподалеку, в Штатах, хоть и разлетелись из дому.

И все четверо — с острым вниманием, с волнением, как за свою истинной судьбой, — следят за новостями с родины, слушают от нас пояснения и добавки и отвечают своими соображениями. До сих пор — русские по духу. Пока — удалось сохранить.

Но затянься наше пребывание здесь ещё?.. Почти невероятно, чтобы детям, всему роду моему, не пришлось весомо заплатить за моё изгнание.

В октябре 1987, как условились через моего благожелательного немецкого издателя, приехала к нам большая редакционная команда «Шпигеля» во главе с главным редактором Рудольфом Аугштейном — и беседовали мы несколько часов, очень содержательно, при хорошем переводе, — об исторических путях России, прямо в связи с «Колесом». Хотя между нами с Аугштейном уже не было никакой сердитости от конфликта 1974 года — но разговор сперва шёл в большом напряжении: не исключаю, что и ныне журнал не прочь бы изобразить меня безысходным мракобесом. Однако в ходе часов напряженья спадало и обе стороны оставались удовлетворены.

Прошло несколько недель от публикации* и, видится, явно от впечатления со «Шпигелем» — вдруг и «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс» заказали писать статьи обо мне — с заданием: жив ли ещё Солженицын

* «Der Spiegel», 1987, 26 Oktober. Полный русский текст — Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах, т. 3. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997, стр. 285 — 320. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия, тома и страницы. — *Прмеч. ред.*)

или уже принадлежит прошлому? (Какой-то «исторический путь России», глубина времени, — а где же горбачёвская Перестройка? где же внятная современность?) «Нью-Йорк таймс» настойчиво добивалась и интервью от меня, я не дал.

На всякий случай заранее меня похоронить, до выхода «Колеса»? Ничем их не насытить. А мне, нутряно, совсем безразлично: что они обо мне думают, скажут, напишут. Я знаю: хоть когда-то, хоть после моей смерти, «Красному Колесу» время придёт — и той картины Революции никому не оспорить.

Впрочем, у «Вашингтон пост», при доле подмуклёвок и шпилек, — получилась статья как бы реабилитационная после травли 1985: вроде я — и не антидемократ, вроде — и не антисемит... («Нью-Йорк таймс» и год спустя, к моему 70-летию, опять предлагала интервью, я отказался.)

А в СССР моё имя всё так же запрещено. Гласность для кого и повеяла, чьи имена и книги вытягивали наконец из тьмы забытья — да только не мои: для советской власти я оставался заклятым и опасным врагом, и в цеккистской «Советской культуре» меня продолжали травить.

И куда прочь отнесло то неуверенное заявление Залыгина в марте 1987, что он намерен печатать Солженицына? Что ж, терпели дольше, потерпим. Таков уровень официальной «Гласности» спустя три года, как её даровали.

А — не официальной, общественной? Нас поразила мелкость достигших нас разномнений. Одни: вот Солженицын приедет и возглавит «Память» — и это приведёт к диктатуре русского шовинизма в СССР. Другие: нет, он приедет — и обессилит её, отнимет у неё умеренные здоровые элементы. Рассуждали обо мне, как о политической игрушке, а не о писателе. И даже по этой плоскости зрели только леденящую «Память» — а Коммунизм как будто уже и не высылся.

А год кончался.

Неожиданно президент Рейган сделал несколько попыток вставить меня в советскую действительность. На новый 1988 год уговор у них был с Горбачёвым обменяться краткими видеоречами — встречно, к советским и американским телезрителям. Рейган сказал: по словам вашего русского писателя: «Насилие не живёт одно, оно непременно сплетено с ложью». (Вырзаты из передачи нельзя. Но обошлись советские с речью так: не объявили вперёд, в какой час будет передача, — и пустили её ранним часом 1 января, когда все ещё спали.) — Затем в апреле в одной из своих речей Рейган прямо предложил Советам «печатать Солженицына». (На ту речь советская пресса накинута: «банальные вымыслы», «не содержит положительной атмосферы для диалога». В том же апреле, в одном из гарвардских обсуждений, успел и Р. Пайпс: «Если не Горбачёв, то победит реакционное направление Солженицына».) — В конце мая, во время визита в Москву, в Даниловом монастыре, как раз в Духов день, Рейган процитировал отрывок из моей крохотки «Путешествуя вдоль Оки». Московская «гласная» пресса проигнорировала этот пассаж. — Тут же вослед Рейган назвал меня перед писательским собранием в ЦДЛ. (Американские корреспонденты проворно бросились за отзывом к братьям-писателям, и получили, от Гранина и других: скучный писатель, реакционный, что его с нами нет — не потеря). И немедленно откликнулась «Нью-Йорк таймс»: «Даже и те советские интеллигенты, кто раньше защищал его [Солженицына] право печататься», — и для тех «он неприятен, прямой духовный потомок реакционной породы русских националистов, который предпочёл мистическое убежище в укреплённой изоляции [это — мои Пять Ручьёв] от секулярных зол Запада».

Опять и опять! Нет, нам до конца света не помириться. Когда касается меня — до чего же дружно, согласно мелют эти два жёрнова: что кагебистский (а хоть и образованский), что госдепартаментский да ньюйорктаймский.

Несмотря на все взвихри настроений от событий на родине — наша с Алей работа не слабнет ни на день, никогда. Я уже расставался с «Мартом», с 88-го перешёл в «Апрель», больно влекущий его поспешливой новизной — и неоглядным сползанием России всё дальше в пропасть. Всякую очередную главу Аля набирает на машине IBM — и всякую же сопровождает на обширных полях своими оспорами, советами, предлагает перестановки, ужатия, порой — выбросы. Эти заметки её — неусыпный контроль качества, иногда меня раздражающий, иногда восхищающий, — но всегда зоркая помощь и всегда неутомимый подпор в неохватной, по задаче и объёму, работе. Затем Аля перегоняет текст (ах, спасибо новой технике: при наших объёмах и темпах мы бы с пишущей машинкой погибли), иногда выдвигает ещё новые возражения, я снова принимаю по ним решения — и она выбеляет главу начисто. От удачи этого совместного движения мы оба молодеем. (Но и так, говорила Аля: испытывает она угнетение, многолетне следя в подробностях — неостановимое в 1917 крушение России. Да не следя — прямо живя в нём.)

И так мы плотно, погружённо работаем, что досаднейше приходится нередкие поломки и неполадки в машине, вызывать мастера за много миль — и не во всякий день приедет, и на наших холмах дорога часто — одна гололедица, и ещё как скоро справится, и ещё все ли детали найдутся у него. От перерывов наборной машины работа не останавливается: Аля тут же берётся за редактирование рукописей Мемуарной библиотеки — ведь размахнулись мы ещё и на эту непосильщину. Легче всех прошёл Кригер-Войновский, последний царский министр путей сообщения — высокая достойная культура ума, государственный опыт, от того и перо, — такими людьми наш век всё менее избалован. — Уже гораздо больше потребовала рыхловатая рукопись Сергея Евгеньевича Трубецкого, младшего члена знаменитой интеллектуальной семьи. — И гомерическая работа свалилась по интереснейшим мемуарам москвича Окунева за первые советские годы. Беда была в том, что досталась нам самиздатская перепечатка с сотнями ошибок в цифрах, датах (перепутана была и последовательность записей), географических названиях и личных именах, которыми пестрит дневник. Приходилось проверять по многим энциклопедиям, разным случайным источникам, а больше всего — по газетам того времени, микрофильмы которых у меня и были. Но редактура, вероятно, и стоила того: под гнётом раннесоветского времени таких свидетельств почти ведь и не сохранилось. Они тоже — ещё не для сегодняшней Гласности. (Ещё подобную книгу мы в «Имке» выпустили — И. И. Шитца, «Дневник „Великого Перелома“».)

Но бывал ли у Али хоть один день без вторжения внешних помех? То и дело телефонные звонки — и от настырных корреспондентов, всегда порывистых найти какой-то сладкий выклев, и от эмигрантских любителей поговорить, и вообще от неожиданных лиц (номер нашего телефона как-то всё шире растекался). И многие эмигранты — с просьбами, бедами, Аля помогает безотказно. — А то ещё и самые внезапные звонки в ворота: два раза прибравивали явно душевнобольные женщины с жалобами, что их измучило зомбирование от КГБ, — и чтоб я защитил и выручил. Непогода, а то и мороз, и идти ей вроде некуда, значит везти её в ближнюю гостиницу, устраивать, кормить, успокаивать. И одна уедет, а другая останется бесчинствовать в округе — и соседи корят нас, какие к нам посетители «эти русские». — А раз, на своём автомобиле, а наши ворота нараспашку, приехал третьемигрант из Торонто, тоже тронутый: привёз «идеологическую бомбу» — проект, как спасти мир соединением Дарвина, Маркса и Фрейда. Приехал — в мороз 25°, но у него в машине — жарко, и он не уедет, пока мы не прочтём и не одобрим. — А то, углядя в «Новом русском слове», как пройти к нам по лесной дороге, — жена некоего московского художника, пешком, с чемоданом: тут, в чемодане, образцы его ра-

бот, а вообще он написал три тысячи картин и все их подарил Соединённым Штатам; но американское посольство в Москве что-то медлит принять бесценный дар — так чтобы я повлиял на американское правительство, ускорил. И её с чемоданом — везти в обратную дорогу. — А ещё же, не так редко, гудит в ворота проезжий американец, или семья, или экскурсионная компания: «Только на полчаса! пожать руку!»

А помощь Фонда семьям эков — надо же в Россию лить. С Перестройкой оживилась связь — письма, деньги, посылки.

Слишком много груза — и сразу вместе, и всегда, постоянно. Уплотняется время, чтоб не пропадала минута — и никогда. К вечеру: откуда брать силы? А это ещё — не конец дня, ещё и за полночь работа длится. И потом — короткий, малый сон, не всегда и глубокий. А никто за неё не делает.

Тяжко — но что мы смеем остановить? чего — не делать?

От «перестроечного» размораживания усиляется и внешняя тряска. Ещё не знаем толком последнего события или текста — уже звонки прессы: ваша реакция? И Аля — отговаривается. (Да что ж я — ежедневный комментатор, что ли?)

Одно облегчение явное: к весне 1988 кончилась моя 40-летняя работа над словарём. В Нью-Йорке Лена Дорман начала набор, мне присылала гранки на корректуру.

Теперь получаем прямо из Москвы по подписке — «Новый мир». Над страницами его, ещё такими оглячивыми и несмелыми, — дивное ощущение *возврата*. — Свободней потекли книги, теперь и «Имка» рискнула допечатать 500 экземпляров «Красного Колеса», и «малышек» добавила, разбирают приезжие.

Да, невообразимое составлялось: открытые людские связи. Вот в Копенгагене собрали первую встречу «деятелей культуры». Приехали ещё робкие и ещё подобранные в отделе кадров советские — и ринулись туда наперерез энергичные третьеземгранты. Из первых там возгласил Эткин: «Солженицын — сеятель ненависти!» Не он один. Ужас перед Солженицыным, уже накачанный Третьей эмиграцией на Западе, теперь перекачивали в советский образованный круг. А там — и не возражали: «Нам не нужны пророки!» (Обидновато всё-таки, что сегодняшние новизны, и многое сверх них, я высказал вслух ещё 15 лет назад? Кому нужно такое опережение...)

Не дожид до этой обнадёжливой поры Митя Панин, в ноябре 87-го скончался в Париже в свои 77 лет: вставленные на помощь сердцу стимуляторы перестали тянуть.

Так завершилась его трагическая жизнь. Перенеся тяжёлое следствие, ещё и в голодном лагере военного времени (лагерный срок его удлинял прежний 5-летний до 13 лет), в лагерном и тюремном стеснении вырабатывая философские и политические принципы для государственного и жизненного устройства, — он должен был таить их и на советской «воле» уже и за свои 50 лет, потом надеялся найти широкое признание на Западе, но не нашёл его и не обладал сцепляющей передачей убеждать в своих принципах, множить сторонников, так и остался непонятым утопистом. Мешала ему и прямолинейность мышления: «Созидатели и разрушители» назвал он один из своих главных трудов — в представлении, что все люди и делятся на две такие отчётливые категории, и нет между ними ни промежуточных, ни переходов. (Главных разрушителей он предлагал сослать на безлюдные острова и тем momentarily спасти человечество.) Из эмиграции подпольно слал в СССР призывы к стачкам и силовому сопротивлению властям. — В эмиграции разрабатывал он, идя от философии, и труды по физике, о которых судить не берусь, а признания они тоже не получили.

Приходя в отчаяние, Митя просил меня — то устроить продвижение этих трудов в Соединённых Штатах; то найти ему в Штатах какую-нибудь оплату его будущей публицистики, — невыполнимая задача. Тогда он со-

гласился наконец на нашу прямую помощь. А все призывы его, обращённые к обществу Востока и Запада, к папскому престолу, — остались тщетны, и тоже были практически неисполнимы.

Для меня это текла и поучительная, и трудная дружба — на протяжении 40 лет, от марфинской шарашки. Со смертью Д. М. закрылась одна из личных эпох.

По традиции — служили мы под старый Новый год, 13 января, общую панихиду и за 1987. Тут были, кроме Панина: прекрасный поэт Иван Елагин, всю жизнь которого перекорёжили эмигрантские бедствия; продолжатель Белого дела Борис Коверда, известный варшавским выстрелом в большевика Войкова в 1927; и красный генерал Пётр Григоренко, самой своей жизнью и грудью своей пробивавшийся к правде.

* * *

А события в Советском Союзе, хоть и с трудным перевальцем, но всё ж подвигались. В 1988 готовились вывести наконец войска из Афганистана, после бессмысленной 8-летней войны. В июне показало американское телевидение демонстрация в Москве — «Земля народу! Долой КГБ!» (Но в конце июня конференция КПСС: разумеется — сохранить контроль партии!)

Как и предсказывали мы ещё в «Из-под глыбах»: советская «дружба народов» — мираж! ждут нас национальные взрывы. Они и зачередили. Но с безропотным безучастием отнёсся к ним Горбачёв: откуда кого изгоняли, как грузинских месхов из Казахстана, а Грузия отказывалась принять их в родные места, — Горбачёв и тут уступал. Дошло до ужасной армянской резни в Азербайджане — Горбачёв и тут не вмешался, никого не наказал, с безмятежной либеральной миной делал вид, что ничего особенного не происходит, — а уже тогда трещали скрепы его государства. — Горбачёв был занят более важным делом: закрепить своё большинство в Политбюро. Изгнал бессмертного Громыку, и Демичева, погнал Лигачёва на сельское хозяйство, а идеологию передал Вадиму Медведеву, на КГБ поставил надёжного Крючкова, — и? И — ничего. Всё так же принимал сладкие ласки с Запада и также продрёмывал идущий развал государственной жизни.

А настроение столичной общественности — всё дальше разогревалось. Смелела устная гласность и прорезалась в печати, касалась сегодняшних болевых точек. И в газетах там и сям уже появлялись статьи в память репрессированных — и о лагерных ужасах. И С. П. Залыгин, видимо, не отступился от своих усилий. Спустя год от его первого пробного шара — достиг нас, 11 мая 1988, и то косвенно, телефонный запрос из «Нового мира»: от имени Залыгина спрашивают, согласен ли я напечатать у них «Раковый корпус», а впоследствии и «Круг», — и можно ли об этом теперь же объявить публично? В июне Залыгин был в Париже и гласно подтвердил своё намерение.

Но теперь этот запрос передержанный не вызвал у нас с Алей прошлогоднего — и только от слухов одних тогда — волнения, *тёплого ветерка*. С тех пор нам уже выявился мутный ход Перестройки, показные (часто и бессмысленные) её шаги и корыстный расчёт партийных кругов как стержень её. Так не было ли в этом предложении *через* Залыгина политического трюка? Вот анонсировать «Корпус» ко встрече Горбачёва с Рейганом?

А сожжённые в Союзе «Иван Денисович», «Матрёна», «Кречетовка» — почему не предлагали восстановить их? Сделать вид, что их и не сжигали? А сразу — «щедрый шаг», печатаем «Раковый»?

По сути — чем это предложение 1988 года отличалось от гебистского предложения сентября 1973 через Решетовскую: напечатать «Раковый корпус», а в обмен чтоб только я не двинул «Архипелаг»?

Да, год назад, когда о том впервые промолвил Залыгин, — публикация «Ракового корпуса» была бы событием знаковым. Но, уже упущенный на

20 лет, — многое ли он составит в нынешней обстановке — закруживой, нервной, многословной, да уже и многопечатной? Он только затуманит, что для сегодняшней Гласности я всё ещё неприемлем (и не только властям, но и массиву культурного круга: их опасения перед моим возвратом ясны в публикациях Померанца, Эткинда, да многих).

Залыгина я знал по прежним годам и верил: он предлагает от чистого сердца. Но нет ли тут *игры*, которой он сам не охватывает?

Нет, надо решать по-крупному.

«Архипелаг» — причина моей высылки. За тайное чтение «Архипелага» людей сажали в тюрьмы. «Архипелаг» — пронижет Перестройку разящим светом: хотят действительных перемен — или только подмалёвку.

И решили мы с Алей: — верно ли? нет? — нет!! Согласиться сейчас на «Раковый» — только отдалить появление «Архипелага», если не вовсе закрыть его.

Если мне возвращаться в советское печатанье — то полосой калёного железа, «Архипелагом».

И Клод Дюран прислал из Парижа такой же совет. (Он уже не раз показал, что — подлинный фехтовальщик, понимает цену выдержки и вкус боя.)

В 1962–63, вопреки Твардовскому, я рвался: скорей печататься! любой мой текст! использовать каждый благоприятный момент для расширения плацдармов! И вот теперь, через 25 лет, почти и не напечатавшись в СССР, — теперь сам замедляю...

А если этим «Архипелаг» отложится ещё на 15–20 лет? И так ли он будет нужен тогда — какое-то упущенное давнее-давнее прошлое?..

Нелёгкое наше решение уже сложилось к тому дню, когда пришло первое прямое предложение от самого Залыгина. Это была телеграмма — «телеграмма»? — от 27 июля, она пришла к нам из Бостона в простом конверте пятью днями позже. (Сколько же прошла цензурных рук и мук?) Не желали власти дать Залыгину связаться с нами. В латинских буквах мы прочли: «Намереваемся публиковать Раковый Корпус Круге Первом Ждём вашего согласия предложения Новый Мир Сергей Залыгин». (А для Залыгина его телеграмма — как провалилась: почему я *ничего* не отвечаю? Навивно веря в почту, он уже вообразил, что я не хочу с ним и переговариваться!)

На другой день я ответил заказным письмом [1]¹. А какая надежда, что и заказное дойдёт? Нет, надо объясниться как-то прямей и быстрее. А как? По опасности связи с нами никто из Москвы не звонил нам уже двенадцать лет — соответственно и мы никому. Но, может быть, сегодня уже не так опасно? И Аля решила позвонить Диме Борисову, близкому другу нашей семьи, соратнику в боях 1972–73 годов, тогда бесстрашному против КГБ и постоянно единомышленному с нами. И — удалось, разговора не прервали, — прочла Диме, с просьбой пересказать Залыгину. (И хорошо, потому что само письмо не пропустили в «Новый мир» и за две недели. Залыгин тщетно запрашивал Министерство связи.)

Можно себе представить огорчение, уныние Сергея Павловича — от тяжести, которую я на него навалил, — и перед непробивной цекистской стеной. Но в тех же днях он решил поставить вопрос об «Архипелаге» на обсуждение редакции. (И Дима теперь тоже естественно был привлечён в её состав и горячо подкреплял Залыгина быть твёрдым.)

А мне Залыгин ответил 26 августа экспрессом: «А лучше бы, всё-таки, «Раковый корпус»! Ну, хорошо, — будем пробовать». (Мы тоже узнали текст по телефону от Димы, а письмо получили через месяц в каком-то грубейшем вскрывавшемся и заклеенном конверте, даже напоказ, фарсовое исполнение.)

¹ Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце. (Примеч. ред.)

Западная же медиа, не в силах больше выносить горбачёвское топтание, нахлёстывала события прямыми выдумками. Французское радио сообщило: Горбачёв предлагает Солженицыну вернуться — и тогда напечатает «Архипелаг». — А то взмотали и похлеще. Баварское радио объявило ещё в июле, что будто Горбачёв написал мне два письма, и притом *собственноручных*: вернуться в СССР — и напечатает все мои книги. И что уже договорено: в конце года мы с Алей едем в Москву «подписать все контракты». Сведения эти — от их нью-йоркского корреспондента, который *сам разговаривал по телефону с женой Солженицына*, и она подтвердила ему, что такие письма Горбачёва — да, получены. Аля вскипела, стала дозваниваться в Мюнхен, опровергать: никаких писем от Горбачёва не было! и никакого разговора с корреспондентом не было! Баварский лжец однако настаивал: нет, был! Даже больше того: у него якобы прямое письмо от Солженицыной, но показать его он не имеет права. (Почему ж не показать? — покажите!)

Но что! Вмешался солиднейший лондонский «Экономист» — ему-то что нужно? Он рассудил: такие письма Горбачёва — несомненно были. Хотя жена Солженицына и отрицает, но такой разговор несомненно был. — Аля рассердилась не на шутку, нельзя оставить так! И досталось ей три недели через адвоката добиваться от «Экономиста» опровержения — каковое и появилось уже в середине августа с малым извинением. (Я-то считал, что всё это — лишние беспокойства, махнуть рукой, само загаснет. А баварский зачинатель сплетни не получил даже порицания от своего союза журналистов — иначе как жить прессе?..) — Теперь подхватило и агентство Ассошиэйтед Пресс: ему известно, что в советском посольстве в Вашингтоне уже оформили и все нужные бумаги для возврата Солженицына в СССР. (Только нас о том забыли уведомить...)

В начале августа сдержали властям и «Московские новости», сперва на английском языке, вослед на русском: напечатали статью «Здравствуйте, Иван Денисович!» (Какой такой Иван Денисыч?)

И в те же дни Люша Чуковская, собственным независимым замыслом и движением, поддала бурной волны: опубликовала 5 августа в «Книжном обозрении» требование, чтобы начали печатать Солженицына, и — вернуть гражданство! (И как главред газеты Аверин решился? публикация эта тут же обошлась ему едва ль не в инфаркт.)

Статья эта прозвучала сенсационно, вызываяще. Прорвалась пелена общественного напряжения. Уже в день выхода номера — возбуждённые читатели звонили в редакцию, и сами приходили, долетели и первые телеграммы в поддержку. У стендов газеты на улицах густо толпились. Международные агентства подхватили новость.

В следующие дни — сотнями писем — обрушился страстный отклик читателей в редакцию, — и газета посмела те письма печатать, в двух номерах, на полных разворотах. Отважные голоса полились теперь на страницы отважной газеты.

«Писатель, художник, любой человек имеет право на бесстрашную мысль. Мы это выстрадали всем народом». — «Надо же, против какой машины пошёл! Это пострашней, чем против танка, пожалуй!» — «Солженицын предвосхитил многое из того, что сегодня живительным ветром проносится по нашему Отечеству. Он служил ему больше, чем все его хулители, объявлявшие себя патриотами». — «Пришло время отменить противозаконный акт, снять с человека клеветническое обвинение в измене Родине, которой он не изменял, [это] нужно прежде всего нам самим. Для очищения нашей гражданской совести. Для утоления нравственного чувства справедливости». — «С произведений А. И. Солженицына подлинная интеллигенция никогда и не прощалась, они всегда были с ней». — Солженицына «необходимо вернуть стране, судьба которой всегда была и его личной судьбой». — «Простите нас, дорогой А. И., что в своё время мы не

вступились за Вас, смирились как с неизбежностью с теми мерзостями, которые о Вас писали, с Вашей высылкой из пределов Отечества».

Были и такие, кто призыв Е. Чуковской называл «оскорблением участников войны»; вернуть ему гражданство? — нет! — «на выстрел не подпускать Солженицына к СССР!».

В редакции уже не считали писем, а мерили на вес — и позже прислали нам отборку из них, сотни три.

(Та крупная пачка не напечатанных «Книжным обозрением» читательских отзывов на публикацию Люши Чуковской достигла меня в начале 1989. Вот для меня был отзыв реальной России. Какое обширное вдруг знакомство с соотечественниками! Но вот что. Читал я их, читал с захватом — и создалось у меня впечатление удручающее. До сих пор, до сих пор я не представлял, до какой же степени и как методично опорочила меня советская пропаганда за десятилетия, и как это внедрилось в головы, что звучит даже во многих доброжелательных ко мне письмах. Почти никто и сегодня не представляет меня в подлинности, а уж тем более — в объёме написанного мной. Если «за» и больше, то не намного. И нельзя поверить, что всё это пишется об *одном и том же* человеке. Разделяющий меня с читателями порог так высок, что его нельзя преодолеть одним усилием — одной большой публикацией или фактом приезда. Сколько же усилий — и, опять-таки, лет — надо, чтоб эту ложь отмыть? — В тех читательских письмах вопрос обо мне ещё так перекосялся: не «печатать ли его?», а: «возвращать ли ему гражданство?», ещё стóит ли? Много там писем было и меж-двух-стульных, у многих писавших — нечётки контуры мысли, полная неопределённость мировоззрения. Так простым людям, может, и было бы верней поскорей получить «Ивана Денисовича», «Матрёну», а кому поразвитей — «Корпус» и «Круг»? Так, может, и зря я упёрся с «Архипелагом»? — упускаем важнейшее время для возврата моих книг? Или на этот рубеж не поздно будет отступить и через год-два? Кто рассудит верно? — А вот — из самых поздних свидетельств, дошедших до меня. Когда в 70-е годы всюду-всюду шли против меня митинги, в Приморьи один осторожный, от расстрелянного деда и загубленного в лагерях отца, сам бывший фронтовик, спросил лектора невинно: «А почему не издали вовремя брошюры, как именно Солженицын клеветал на советских людей?» Лектор ответил с уверенной лёгкостью: «Партия сочла недопустимым, чтобы наш народ учинил ему самосуд».)

Вдруг 8 сентября «письмо по телефону» от Димы: состоялось решение редколлегии «Нового мира»: в № 12 за 1988 — напечатать мою Нобелевскую лекцию с амортизирующим удар предисловием Залыгина, а в № 1 за 1989 — «Архипелаг»!!

Мы — и не верим, и потеряли добрый сон. И не смеем радоваться. Я потрясён смелостью обычно мягкого Сергея Павловича, как я его помнил по давним встречам в «Новом мире». И чтоб облегчить ему — разрешаю снять из публикации несколько глав, самых невыносимых для советского уха, — «Голубые канты» (о чекистах), о власовцах...

Но, по словам Димы, «почти вся» московская интеллигенция не поняла моего упрямства: ну, зачем требовать сразу «Архипелаг»? Ну, и пусть бы печатали старые вещи, и хорошо.

Но из Эстонии — пришёл запрос именно на «Архипелаг». И доселе неведомый «Литературный Киргизстан» — хотел сразу «Архипелаг»! Журнал «Наше наследие» просил главы из «Колеса». «Книжное обозрение» тем более имело теперь право что-нибудь напечатать, за свои страдания. «Нева» желала печатать «Круг». В Ленинграде неизвестный нам артист выступал в клубах с чтением моих рассказов, кто-то — с лекциями обо мне. Вышел фильм «Власть соловецкая» — в нём несколько раз читаются отрывки из «Архипелага», но боязливо не называя источника. А всё ж ручейки прорываются...

И стало грозить анархическое самовольное раздёргивание моих текстов — и ещё, может быть, искажённых? не проверенных никем. Прослышав о решении «Нового мира», другие рванулись тоже печатать что-нибудь моё: кто рассказы, кто крохотки, кто старую публицистику. А решительный критик В. Бондаренко, да где — в издательстве «Советская Россия», уже запускал сразу целый сборник по своему личному отбору, без «Архипелага» (и уже отмечился в американской прессе как «первый публикатор Солженицына»). А кто брался самовольно «театрализовать» «Ивана Денисовича». Так — мог, навыворот, потечь отвергнутый мною путь.

Ещё никакого разрешения на меня не было — а временный глава Союза кинематографистов Андрей Смирнов звонил из Нью-Йорка: хотим устроить в Доме кино в декабре, к 70-летию, вечер. А я — что ж? не смею возражать, но ведь и приехать не могу.

Мы потрясены. Какое-то тревожно-рассветное марево. И каких внезапностей ещё ждать?

А прикатила такая. Пока я медлю с «Архипелагом» (я ли медлю?), в Москве создан «Мемориал» — и шлёт мне телеграмму с приглашением быть членом их Совета. Оставаясь в Вермонте? (Впрочем, первую их телеграмму возвратили: «Адрес недостаточен». Эпизод попал в «Нью-Йорк таймс», тогда вторую телеграмму пропустили.) Шестнадцать подписей, во главе Сахаров. — Но нельзя же с неснятой «изменой родине» как ни в чём не бывало — да через океан — включаться в реальное дело? Что отвечать? И за верхушкой Совета может быть растёт масса, пытливая молодёжь, не обидеть её. Ответил телеграммой [2].

А общественный напор — такой необычный, непривычный для властей, да и для самих людей, напор, сотканный из решимостей, сознаний и воли, — он рос. И в пользу возврата моих книг, и самого меня — тоже. С лета и в осень 1988 лились потоком письма в редакции газет и журналов, звучали голоса на собраниях, митингах, вечерах: «Хотим знать правду! И что именно пишет Солженицын? Опубликуйте его книги!» (Многое мы узнавали из быстроотзывчивой тогда парижской «Русской мысли», другое — с большим иногда опозданием.) Недавно рождённая московская «Экспресс-хроника» и рижский самиздат ещё в январе 1988 требовали издать «Архипелаг» массовым тиражом и «провести солженицынские чтения к его 70-летию».

Но Партия неуклонно стояла на страже. В июле на высоком инструктаже в ЦК говорилось: «Мы не знаем, что Солженицын сейчас *думает* [это из-за моего молчания о Перестройке], если выскажется — может нарушить баланс сил». И теперь, после решения редколлегии «Нового мира», — твёрдо сказали Залыгину *на самом верху*: печатать «Архипелаг» нечего и думать, «не тот момент».

Но уже стоял Залыгин на гребне общественной поддержки. — От Союза кинематографистов обратился Андрей Смирнов к Председателю Президиума Верховного Совета (в тот момент — Громыко): полная незаконность высылки Солженицына, такой статьи в Уголовном кодексе давно нет! Просим отменить Указ о лишении гражданства и восстановить в ССП. — 4 октября Совет Мемориала — к Горбачёву: «Крайне озабочены, что в „Новом мире“ публикация глав из „Архипелага ГУЛага“ задержана на неопределённое время. О нём, прочитанном во всём мире, должен наконец вынести суждение тот народ, судьбе которого эта книга посвящена. Своей многострадальной историей он заслужил это право». — 6 октября 27 писателей — в секретариат ССП: восстановить Солженицына в Союзе писателей и просить Президиум Верховного Совета отменить Указ о лишении гражданства.

Промелькнуло от главы КГБ, почему-то украинского, Галушко: «О возвращении Солженицына вопрос не ставится». (Но уже — не «враг народа»?)

А через две недели, как в насмешку, под его же носом, в Киеве, в «Рабочем слове» железнодорожников, — напечатали полный текст «Жить не по лжи!» — как бомбу. (От них сразу пытались перепечатать другие, другие — такие же малые газетки.) Вот в этот день, 18 октября, и совершился мой первый настоящий шаг на родину.

Тут в ЦК донесли, что Залыгин отважился поставить на обложку октябрьского номера «Нового мира» одну строку анонса: мол, в 1989 журнал напечатает *что-то* (неназванное) Солженицына. Вызвали Залыгина в ЦК и строго указали, что его затеи недопустимы и что он тащит в печать «врага», а в типографию дали прямую команду: остановить тираж! содрать обложки с уже готовых экземпляров (а их уже было чуть ли не 500 тысяч) — и пустить под нож, большевицкий размах!

Но и времена новёли: возмутились и сопротивились типографские рабочие: не хотели сдирать! А куда им жаловаться? Надумали: в Мемориал. (В октябре от Димы пришло к нам и первое письмо, так мы узнавали подробности. Сергей Павлович тяжело пережил удар со сдиранием обложки. Дима с большой настойчивостью и выдержкой поддерживал Залыгина в его решимости. И главное — не ослабевал общественный напор.)

Зато, услужливо, 19 советских писателей, «сторонников перестройки» (надеюсь, имена их сохранятся), в коллективном письме в ЦК именно и просили: не время печатать Солженицына, это разрушит Перестройку! А известный «шестидесятник» добавлял отсердечно: не только не надо печатать «Архипелаг», но и не надо Солженицына как человека возвращать на родину: «принесёт вред стране, монархист, вокруг него сгруппируются тёмные силы»...

Обложки, конечно, содрали: советские — расходов не считают! Но именно от этих обложек и скандал разразился — всемирный. И ксерокопии содранной обложки — ходили по Москве как самиздат.

Нет, времена у нас наступали не лизоблюдные. Протесты — катили. 21 октября группа из 16 писателей и академиков — Горбачёву: публикация Солженицына остановлена, но «творчество его всё равно дойдёт до отечественного читателя с непреложностью физического явления. Сегодня появления на родине произведений Солженицына ожидают не только как крупного литературного события, но и как несомненного свидетельства полноты общественного обновления, необратимости идущих в стране преобразований». — Тут же вослед, тому же Горбачёву — ещё 18 учёных, художников, писателей: «Мы крайне встревожены... Запрет публикации может подорвать доверие к идеям перестройки». — 24 октября, с вечера в Доме медицинских работников — в Президиум Верховного Совета: отменить Указ о лишении гражданства — 291 подпись (с их адресами!).

И в последних числах октября — заседала в Москве в Доме кино конференция всесоюзного Мемориала, съехалось немало бывших эзков с разных концов страны. И внесли предложение: голосовать за отмену «измены» Солженицына и Указа о лишении гражданства и высылке. И неминуемо было, что — конечно примут сейчас.

А змеиному гнезду — не дремать! Из президиума — высунулся на трибуну заместитель Чаковского по «Литгазете» Изюмов. Этак застенчиво: «Может быть, я разглашаю редакционную тайну, но скажу: у нас уже набран материал, что Солженицын долгие годы сотрудничал с МГБ, — и вот скоро «Литгазета» напечатает разоблачение», — ну коммунистические-то их сердца бьются же от негодования!

Тут Люша побежала к сцене, вырвала микрофон и стала кричать: «Вон отсюда!» Что поднялось мгновенно! — буйный гнев всего зала: «Долой! Вон! Прочь! Негодяи!» Один из двух микрофонов сломали. Кряж Доброштан, вожак воркутинского восстания, кавалерийским голосом кричал: «Не верьте им! Не верьте их бумажкам — это всё фальшивки! Мы знаем человека этого не по бумажкам, а по делам!» Потянулись стащить клеветника

из президиума и выкинуть из зала. Сдуло его. (Думали враги опять печатать тот «донос»? — всё ту же свою затрёпанную подделку, которую я сам 12 лет назад, в 1976, опубликовал и разоблачил? [3] — Удивительно, до чего ж нужна им против меня та фальшивка! — к чему б и цеплялись они без моего рассказа в «Архипелаге»? Но махлюжники, видимо, струсили перед ветром Эпохи.)

Тут же — проголосовали единодушно резолюцию: отменить обвинение в измене Родине; вернуть гражданство СССР; скорее издавать «Архипелаг ГУЛАг»! И Сахаров, за столом президиума, тянул руку столбом к потолку. (Но даже в январе 89-го в мемориальной газете с отчётом об этой конференции — пункт об «Архипелаге» не допустили напечатать, так и осталось белой строкой.)

Агентство Франс Пресс передало 21 октября (напечатал и Лев Тимофеев в тогдашнем своём «Референдуме»): Горбачёв топал ногами на Залыгина при посторонних. Л. К. Чуковская писала нам: «Залыгин вёл себя потрясающе стойко». 2 ноября он написал Горбачёву решительное письмо. 9 ноября в ЦК на совещании редакторов газет который раз было втолковано: запрещается вообще что-либо из Солженицына. «Он враждебен нам. И вообще такие фигуры не нужны нам в нашем обиходе». (У Залыгина в конце ноября, к его 75-летию, был спазм сердца. Тяжело досталась ему вся эта канитель.)

12 ноября в Риге на Идеологическом совещании немало говорил про меня новый идеолог ЦК Вадим Медведев — о неприемлемости Солженицына «для нас». Через западные телеграфные агентства его слова утекли, но он не уклонился и снова повторить на пресс-конференции 29 ноября: «Печатание Солженицына подрывало бы основы, на которых покоится жизнь нашего общества. Его атаки на Ленина недопустимы».

Но этот Медведев на меня, по крайней мере, нисколько не клеветал и не извивался лукаво — в отличие от Синявского, Войновича, Коротича и сотни неперечислимых.

А с 19 по 26 ноября в Доме культуры Московского электролампового завода была проведена «Неделя Совести» и в фойе устроена «Стена памяти», на ней макет СССР с картой расположения лагерей, стенд с фотографиями репрессированных, портреты Шаламова и мой; на ней же вывесили «Жить не по лжи» из киевского «Рабочего слова» и предложили желающим высказываться письменно. Только за первые три-четыре дня набралось больше 1000 записей — за немедленную публикацию Солженицына и возвращение его на Родину. Потом число их нарастало. Этих записей нельзя читать без волнения.

Все эти препятствования, но и весь ход Напора — ещё и ещё подтверждали нам правильность: начинать — именно с «Архипелага»! Раскачивать, не ждать, пока горбачёвские цензоры сами продрыхнут.

В дни нашего поражения я написал (1.12.88) Сергею Павловичу: «Приношу Вам мою сердечную благодарность за ту настойчивость и ту отвагу, с которой Вы пытались дать путь в печать исторической правде о наших страданиях, а также и моим книгам. Я уверен, что этих Ваших усилий история русской литературы не забудет. Не Ваша вина, что они теперь неуклонно преграждены — да ведь всё равно только на измеримый срок, куда же деться от правды?»

Участие Сахарова в Совете всесоюзного Мемориала было одним из естественных его шагов: и по сердечному сочувствию к этой теме, и по общему его движению — возврату в общественную жизнь страны после ссылки. Хотя несомненно томясь о научной работе, с которой его разлучи-

ли годы кары (правда, в этих же неделях избрали его и в президиум Академии наук, но это ещё не был реальный возврат в научную работу), — он отзывно ощущал на себе и груз общественных запросов и продолжал своё прежнее заступничество: за последних немногих ещё не выпущенных политзэков; за крымских татар: особенно горячо и не раз — за освобождение Карабаха; и ещё — со своей своеобразной идеей сокращения вдвое срока службы в армии. Но шире того — либеральная общественность влекла его и в свои тогдашние публичные начинания: в коллективный сборник «Иного не дано» (в страстную поддержку горбачёвской программы — а в чём она, та «программа?»), в дискуссионный клуб «Московская трибуна», где возникла уже и критика той программе — справедливая защита удушаемых кооперативов; против возможных ограничений прессы, собраний и митингов; и против всегда мнящегося «опасного сдвига вправо». (Что под этим подразумевалось? Партийные «право» и «лево» у нас уже совсем запутались.)

А по проблемам внешним — Сахаров в июне 88-го на пресс-конференции, которую ему устроили в МИДе, отвечал удачно, находчиво, государственно умно. Эта ли его позиция — побудила власти с ноября отменить запрет на выезды его за границу. И в ноябре-декабре Сахаров совершил поездку в Соединённые Штаты, где имел важные встречи в верхах и публично поддержал советские возражения против американской программы СОИ (противоракетной обороны); затем — ещё более триумфальную поездку в Париж, где имел случай, напротив, отгородиться от советской точки зрения: не безусловная поддержка Горбачёва Западом, а лишь до тех пор и поскольку осуществляется Перестройка.

За те несколько недель И. А. Иловойская виделась с Сахаровым и рассказала нам: А. Д. быстро утомляется, выглядит много старше своих лет. Мучим многими сомнениями. Спросил у неё наш телефон.

Но вот не звонил.

Позвонил 8 декабря, из Бостона. Сперва разговаривала Аля (пока меня звали из другого дома). Был с ней Андрей Дмитриевич любезен, но без тени теплоты. А когда трубку взял я — он сразу же стал выговаривать самопоставленную тяжкую задачу. «Чтобы всё было сказано. Я очень обижен на вас за то, как изображена Елена Георгиевна в „Телёнке“. Она — совсем другой человек».

За те две-три строчки. И вот — уже 14 лет.

Я вздохнул: «Хотел бы верить, что это так».

И ещё несколько фраз сказал он — того же одностороннего выговора.

А я — тоже на душе имел, что ему сказать: как в марте 1974 он напал на меня из-за «Письма вождям», даже, видимо, и не прочтя его внимательно, да и слогом не вовсе своим. И торопился передать по телефону в Нью-Йорк, когда Аля с детьми ещё не приземлилась в Цюрихе. Разве — это похоже на него? Разве не просвечивает тут властное влияние?

Он тогда взгромоздил на меня обвинений в «опасном воинствующем национализме» — первый он, отначала, со всем авторитетом — и на многие годы, да на те же, вот, пятнадцать — подорвал мою позицию на Западе — как это? зачем? К выгоде ГБ и ликованию нью-йоркских радикалов. Он был — первая и самая высокая скрипка, склонившая западную образованность не слушать меня, не принимать от меня ничего, кроме «Архипелага».

Но что-то сейчас удержало меня упрекнуть его. Всё равно уже — упущенное, и он сам уже не тот, после горьковской ссылки.

Голоса его, если не считать отрывков по радио, я не слышал те же пятнадцать лет. Он показался мне слабей, чем раньше, и с призвуком болезненности. Я спросил о здоровье. Он ответил: «В пределах моего возраста — удовлетворительно».

И, как тяжкую повинность отбыв, положил трубку.

А через три минуты, я ещё от телефона не успел уйти, — опять звонок: «Да! поздравляю вас с 70-летием!» Из-за чего и звонил, забыл.

Я сидел над телефоном с тяжёлым чувством. Обо всём и всегда — надо объясняться до конца. Теперь — другой раз когда-нибудь?

А оказалось — оказалось, что тот разговор наш был и последним в жизни: ровно через год Андрей Дмитриевич умер.

Тогда, в декабре, к моему 70-летию, — да, затеяли в Москве несколько самовольных вечеров. Тогда для этого требовалась смелость. — Дому медработников такой вечер запретили — но они как-то провели на свой страх. — Кинематографисты — настояли, устроили многолюдный (но с негласным обязательством «не переступать границ»). В ораторах там был горяч Юрий Карякин, убеждённо-настойчив Игорь Виноградов — но вёл вечер, как ни в чём не бывало, недавний мой язвительный поноситель В. Лакшин. — Дому архитекторов вечер запретили, однако с опозданием в две недели они всё же смогли устроить. (Нам потом привезли любительскую киносъёмку этого вечера.) Выступали Анатолий Стреляный, Игорь Золотусский, Вячеслав Кондратьев, Дима Борисов, Владимир Лазарев; со сцены горячи — мать и дочь Чуковские: Лидия Корнеевна с воспоминаниями, Люша — с чтением из писем, не поместившихся в «Книжное обозрение», и называла, кто из писателей меня прежде травил. — И ещё: в незвонком клубе завода Баумана провели такой вечер затеснённые *общественные* патриоты — но не те националисты, кто уже прежде проклял меня.

А многие в обществе присудили: зря я требовал сразу «Архипелаг»; надо было соглашаться на перепубликацию старых вещей, потихоньку — и до «Ракового».

Итак, за эту четырёхлетнюю оттепель — в СССР успели напечатать и всех запрещённых умерших, и всех запрещённых живых, — всех, кроме меня*.

Да я и не удивлялся. Я так и понимал, что в *эту* Гласность — не вмещаюсь.

Да не только запрещали к печатанию, но всё так же ловили мои книги на границе, на таможах.

Под новый 1989 я записал: «Не помню, когда б ещё было как расплывчато в контурах событий и моих ожидаемых решений, только в 72–73-м, перед изгнанием. Беспокойная, сотрясная предстоит мне старость».

И жене сказал: «Ох, Ладушка. Не проста была наша жизнь, но ещё сложнее — будет конец её».

А Диме и его жене Тане, тоже активно помогавшей, мы писали в «левом» письме в декабре: «Хотя кончилось всё как будто внешним поражением, но на самом деле нет, и Ваш вклад и череззачные усилия Залыгина не пропадут. С годами, и может быть недолгими, это ведь снова попадёт в Ваши руки».

А пока что ж? — только больше времени оставили мне на окончание моих работ.

А грустно.

* Ныне есть публикации (напр., «Общая газета», 10.12.98, стр. 8), объясняющие тактические расчёты Горбачёва в торможении возврата моих книг в Россию. Тогдашний помощник Горбачёва Черняев пишет, что в 1988–89 Горбачёв не желал вернуть мне гражданство, чтобы я не стал объединяющим лидером оппозиции, — вот чего боялся... (Примеч. 1999.)

Глава 15

НЕПРИНЯТЫЕ МЫСЛИ

И в начале 1989 Горбачёв повторял и повторял (хотя, может быть, уже без внутренней уверенности): «Критики заходят слишком далеко. Наш народ однажды выбрал путь коммунизма и с него не сойдёт». И хотя именно из Москвы текли свидетельства, что за год положение с бытом, едой, водой стало резко хуже, эпидстанция предупреждала не покупать молочного, в Рязанской области картошка перетравлена химией до розовости среза, выбрасывается; москвичи боятся голода или крупных аварий (с Южного Урала на всю страну прогремел пожар двух встречных пассажирских поездов, унесший 600 жизней); и в самой Москве уже замелькали демонстрации и плакаты, угрожающие забастовками (это мы видели даже по американскому ТВ), — несмотря на всё это, столичное, московско-ленинградское общество более всего тревожилось не о том, оно страстно жило фантомами русско-еврейской распри. (Даже о Пастернаке стали говорить «недостойный сын достойного отца» и не прощали ему православных мотивов в поэзии; даже академика Лихачёва подтравливали за православие, а уж слово «деревенщики» употреблялось в Москве только как ругательное, отъявленным фашистом клеймили и Валентина Распутина.) Сильно затеснённые патриоты пытались отбраниваться, кто и грубо. Такой резкости раскола — и эмиграция никогда не знавала. (Впрочем, остальная бытийная страна этим столичным психопатством как будто не затронулась.)

Неблагоприятное впечатление и в СССР и на Западе от расправы с обложкой «Нового мира», явного загорода пути моим книгам — советские власти искали перенаправить испытанным приёмом: дискредитировать меня. И немедленно нашлись исполнители, добровольные или вызванные к тому. В первые дни 1989 не упустил включиться, уже на московской сцене, Синявский. Хотя, кажется, приехал он на похороны своего подельника Юлия Даниэля, но постоянным лейтмотивом его выступлений и интервью оставалось, как и все годы на Западе, злословие против меня. Самым слабым из его обвинений было: «Солженицын — против перестройки». (Ещё к тому времени ни звука я не вымолвил о перестройке, а с Синявским мы и вовсе никогда не обменялись ни письменной строчкой, ни телефонным звонком — но он достоверно *знал*.) Корреспондент «Нью-Йорк таймс» не переспросил, откуда Синявский такое взял: раз мэтр говорит — значит, знает. Сейчас трудно вообразить, но в недавние годы перестроечного ажиотажа такое обвинение звучало поражающе тяжёлым: значит, до чего ж этот Солженицын неисправимый злобный реакционер! — Это было любимое клеймо мне ото всей той Рати. — С ними сливалась и твердолюбая коммунистическая «Правда»: «„Синтаксис” Синявского — хороший журнал» (*не поздоровится от таких похвал...*), различать эмигрантов положительных, как Синявский, и враждебных, как Солженицын, он несовместим с советским обществом, он хочет вернуть (?) самодержавие.

В унисон тому в Америке высказывались обо мне что «Нью-Йорк таймс», что «Бостон глоб». — В тиражном читаемом журнале «Ю-Эс-ньюз энд уорлд рипорт» главный редактор Роджер Розенблат внедрил американцам, что Солженицын — это и означает возврат к монархии в России. — А в «Нью-Йорк таймс бук ревью» некий Ирвинг Хау (Howe) печатал невежественную и заплевательную рецензию на «Август Четырнадцатого». (Ведь в наше время художественные книги оценивают не литературные критики и не литературоведы, а ходкие газетные журналисты, и на том — припечатано.) В «Вашингтон пост» к нему, разумеется, тотчас же пристраивался в затылок *мой биограф* Майкл Скэмел. Но вот удивительно: четыре года назад, в 1985, ещё тогда не читанный в Штатах «Август» — единогласно клеймился как антисемитский. Однако вот вышел английский перевод: и

будто где-то взмахнула невидимая волшебная палочка — все эти критики мгновенно как обеспамятели, как онемели, и никто уже не вспомнил ни Богрова, ни «Змия», ни «Протоколов», — дирижёрское мастерство!

Эта соработка двух жерновов за годы и годы уж до того была мне не нова, уж до того привычна. А между жерновом советским и западным — Третья эмиграция была безотказной связью, перемалывающей образ «монархиста, теократа, изувера».

Но несмотря на все заклинанья, партийная плотина выказывала себя всё ж дырявовой: там да сям просачивались самовольные струйки, хотя порой и нецельные. В. Конецкий исхитрился, очень спеша быть первым, напечатать моё письмо съезду писателей как кусок *своих* мемуаров. Вдруг — московский, да политический, журнал «Век XX и мир» напечатал... «Жить не по лжи». А рижский «Родник» — «Золотое клише» (хотя наляпал ошибок, поправляли рижане мою неграмотность: вместо «отображение», такого же слова нет, — «отображение», вместо «втолакивание» — «втолкование» и другие подобные облагораживающие поправки. — Но читают. На родине. И радостно, и досадно: вот так и потечёт лавина в обход «Архипелага». — Григорий Бакланов просил «Круг» и «Корпус» для своего журнала «Знамя» (но они уже прежде обещаны были Залыгину). — А новое гляцевое «Наше наследие» настаивало отдать им «Телёнка», — все как не слыша воли автора: сначала — «Архипелаг».

В марте поразил нас искусительный, тревожный звонок с Ленфильма: «Разрешите ставить „Раковый корпус“!» Искусительный — потому что это ведь не печатность, а — кино. Так — не разрешить ли?.. Нет, уже заклились. И я отклонил режиссёру: «Не черёд, не черёд».

А сдвигалось в СССР с моим именем что-то неотвратимо.

Тут ещё и в Московском авиационном институте изобрели повод для вечера: 15-летие моей высылки из СССР. — И, видя такой утекающий грозный поток, запасливый Рой Медведев предостерегал в «Московском комсомольце»: да, возможно, Солженицына и следует печатать, но только не «Архипелаг», а если уж дойдёт до него — то печатать с серьёзными пояснениями и комментариями, — то есть перевесить и погасить точку зрения автора. По-нашему, по-партийному.

Залыгин же стойко держался, публично подтвердил: да, будет печатать именно «Архипелаг».

В феврале 89-го мы с Димой — в размин, случайно, обменялись письмами с одинаковой мыслью. Я — ему: хотелось бы знать Ваши соображения; в предвидении возможного в будущем бума, когда меня разрешат, — нужно ли и возможно ли на то время официально уполномочить кого-то представлять мои литературные права в СССР? И — кого бы? А Дима мне, почти в тот же день: в связи с «моими хлопотами об „Архипелаге“ — „слух обо мне прошёл по всей Руси великой“; и ко мне всё равно обращаются... как к Вашему литературному представителю». И предложил мне: написать, что я доверяю ему разрешать или запрещать публикации. — И как только его письмо достигло меня — я тут же, в марте, послал ему доверенность, скреплённую местной вермонтской администрацией, и: «Душевно признателен Вам, что Вы берёте на себя этот огромный, хлопотный труд... Полагаюсь на Ваш литературный и общественный вкус и на наше единомысленное понимание». (Позже, по просьбе Димы, я послал ему и более официальную доверенность, визированную уже и в Госдепартаменте США.)

Все эти прорывы и переливы принесли нам много лишних досадных волнений. Не без влияния их, в такой густоте притекавших из Советского Союза, весной 89-го возобновилась после двух лет моя стенокардия, да частыми приступами, едва не через день, а два жестоких, даже по полному

дню. Это, наверно, были микроинфаркты, но я и не доведаль. Усугубилось тем, что я не вник во все прямые последствия стенокардии для сердца, в здоровье которого никогда не сомневался, — потому не выдерживал лекарственных приёмов и режима, и даже, неуч, не принимал нитроглицерина: по своему общему, давнему отношению к болезням, считал, что боли нужно «перетерпеть», и вообще как можно меньше лекарств. Стал двигаться осторожно, хрупко. А в хорошую больницу можно было обернуться съездить часа за четыре, но при моём устойчиво домоседном образе жизни я не поддавался ехать.

Что ж, сделано в жизни уже много. Может быть, я и на последнем плёсе, и река не обещает мне впереди никакого ещё локтя. В начале мая я кончил «Апрель Семнадцатого», последний узел «Красного Колеса», как и наметил. Работа — заняла ровно двадцать лет. И через два дня сказал Але: «А знаешь, хоть и ждёт меня могила под Парижем, но теперь нет смысла туда ложиться, временно, когда начались такие передвижки в России. А положи-ка меня пока вот здесь, — показал на участке хорошее место, у великанских сосны и берёзы. — Отсюда прямо в Россию и перевезёшь».

Но не покоряется сердце последнему плёсу.

«Колесо»-то я, вот, кончил, да. Но — воистину ли кончил? За полвека (с 1936) моих поисков, сборов и размышлений собрались по всем задуманным Узлам — обильные материалы, эпизоды, сюжетные линии, и в голове состроился цельный план, как передать пятилетний переход от 1917 до 1922 года — к миру советскому, через Гражданскую войну и военный коммунизм. Описать это подробно, как я всегда предполагал, уже невозможно по ограниченности и моей жизни, и читательского времени. Но — Конспективный том? Каркас можно бы передать, если опустить все сочинённые персонажи, оставить только исторические, и реальные важнейшие события, — однако их не только перечислять, а углубить и окрасить той цепью изменчивых сиюминутных мнений, которые сопутствовали каждому избранному Узлу. От обзора только событий — к обзору и взглядов.

С увлечением я погрузился в эту новую работу: лето Семнадцатого, осень Семнадцатого, Октябрьский переворот, потом сильно затменные, затемнённые ближайшие недели после него, — многое прикрито, нелегко найдёшь. И от каждого месяца заново ознобляешься: поразительной психологической похожестью того времени — на наше, когда в радости освобождения, но так же и в легкомыслии пронесётся решающие для будущего России дни.

Работа оказалась ещё объёмистее, чем я ожидал, гораздо дольше. Пришлось читать и ещё много газет того времени — в поисках деталей и настроений. Конечно, рядовой читатель не будет в такой сжатой форме читать, но — любознательные к истории. Зато — ощущение dokonченности Постройки.

Аля же в соработе над «Колесом» когда по 12 часов в день, а то доходило и до 16, понимая весь этот труд наш как «расколдование заклатья» в нашей истории, — теперь рубеж окончания испытывала не меньше меня. Её первое касание к «Колесу» зародилось от самого начала моей работы, это совпало с началом нашей близости. Двадцать лет мощным полем книга пронизала нашу с ней жизнь. (Знакомые спрашивали: «Да как вы переносите такое лесное одиночество?» Она отвечала: «Когда так одиноки — тогда-то и работается, ощущение постоянно бьющего гейзера».)

Но нет, для Али «Красное Колесо» на этом не кончилось: теперь, не медля, надо было готовить к печати многолетний «Дневник Р—17» (Революция Семнадцатого), сопровождавший мою работу эти двадцать лет. А вот сделаю Конспективный том — так и его. А там — и «Невидимок», ещё не готовых, и — через океаны и границы — сколько же надо к тому запросов к участникам, согласований, о чём можно печатать, о чём нельзя, и всё ж это через «левую» почту, — включаюсь и я, шлю Люше вопрос за вопросом.

К ежедневной работе дополёгу добавилось Але насыщать рассвободив-

шиеся теперь каналы связи с СССР. Потекли к нам отчаянные просьбы о лекарствах, — покупать их и искать okazji для пересылки. Вот кому-то в Москве срочно нужен недостижимый сердечный клапан, — купить его в Цюрихе, заочно переслать в Париж, а из Парижа пациенту. На запущенный рак — отправить швейцарские ампулы. А то — по присланной из Ленинграда медицинской карте уха — изготовить и переслать слуховой аппарат. — Нашла нас, просит о помощи белорусская «Лига Чернобыль» — нельзя не помочь. — Чуть всплыла на поверхность церковная катакомбная группа — помочь и им. Но — и радиостанции «Голос Православия». Но и — в Бразилию, старческому дому домирующих эмигрантов. А известные пострадавшие диссиденты один за другим появляются на Западе накоротке — подкрепить тут и их. — И при летящих теперь в Москву друзьях, знакомых — уже не чемоданами, а коробками, багаж по сто килограммов и больше, — Аля пакует лекарства, канцелярию и — едú, едú. А все для того поездки за рулём — по нашим холмам, при частых снежных штормах, неразгрёбном снеге, то — оттепели, дождях и гололедице, а три недели весной и три осенью — всегда по пływучей грязи. — А чем больше связей — тем больше и сопроводительных писем. (Аля уловчается писать их по фразам — рядом с наборной машиной, пока та монотонно выстукивает главную её работу, наш отредактированный текст.)

Но и постоянно же радовала Алю, и мне передавалась, тесная связь с сыновьями — хотя живём на чужбине и разбросаны по миру, а все — в добром верном росте. С кем — частые плотные письма, с кем — приезды и телефон. — Ермолай в 89-м закончил Итон с круглыми пятёрками, звали его поступать в Оксфорд или в Кембридж — но рвался назад в Америку, пошёл в Гарвард. (И сразу перескочил там на курс выше. Тем высвободил себе впереди целый год на Тайване для совершенствования в китайском.) После первого курса остался на лето в Бостоне, работал в грузоперевозочной компании, на 40-футовых грузовиках по узким бостонским улицам. — Игнат уже два года пробыл в Англии и тосковал там. Уже досталось ему играть в лондонском Queen Elisabeth Hall, и на Эвианском фестивале у Ростроповича. Влёк его и знаменитый летний фестиваль в Марлборо, у Рудольфа Сёркина. Ростропович теперь стал переключать его: «Какие ни великолепные уроки ты получаешь у Марии Курчо, пора дальше в мир. Сам я вырос — на общении с Прокофьевым, Шостаковичем и Бриттеном». Летом 1990 вернулся Игнат в Америку, был представлен 84-летнему Клаудио Аррау, играл ему Шуберта и Бетховена, удостоился приглашения сопровождать Аррау в предстоящих мировых гастролях, — но вскоре, тою же осенью, великий чилиец заболел и скончался. — Степан же давно превзошёл программу местной школы, но долго сопротивлялся родительским попыткам перевести его на последние два года в сильную частную школу («не хочу быть избранным»). Всё же, посетив для знакомства школу Св. Павла в Нью-Хэмпшире, гуманитарную гимназию, был очарован её дружественной и яркой атмосферой и с осени 89-го поддался перейти туда. Там у него была и желанная латынь, и французский, и вёл он школьное радиовещание. — А Митя на новый 1990 год — первым из семьи поехал в Москву, незабытую свою родину, к незабытым друзьям и родным. (Тот новый 90-й — мы встречали с большими надеждами...)

О Москве — по рассказам частых теперь выезжантов — у нас создавалось смутное представление. Какой-то вихрь толковищ, взаимонепониманий, косых сопоставлений, перпендикулярных сшибок. Уже и Аля сама

звонит в Москву друзьям, — всякий раз с огромным волнением концентрируясь, — и потом пересказывает мне. У москвичей уже закружились самые мрачные и отчаянные настроения последнего распада. А вот приходящие письма из провинции, которые стали пробиваться к нам по десятку в неделю (и ещё сколько отметала цензура?), — больше добрые, а иногда душевно прохватывающие. Чередуясь с воззваниями о защите от властей — также дерзкие интеллектуальные, культурные, экономические проекты. И в провинции — ни волоском не бывали задеты вихрями образованных столичных сражений.

И где-то там, сквозь московскую зыбь, Залыгин стоял натвердо на невероятном, невозможном решении печатать «Архипелаг». И несколько не ослабела людская поддержка. И в цекистских коридорах что-то же менялось. Тут, пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич (столько нагавший обо мне в «Советской России» в брежневское время) из моих гонителей сметливо перекинулся в непрошенные благодетели — и без разрешения и ведома Димы Борисова в начале июня 89-го напечатал в «Огоньке» «Матрёнин двор». (С ядовитым предисловием Бена Сарнова, что, начав печатать, открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, — как будто 15 лет чем другим на Западе занимались.) Сорвал-таки Коротич первоочерёдность «Архипелага», было у меня смурное чувство, хотя же: в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю.

А Залыгин, сколько мог, потихоньку двигал и двигал дело: запрещённый в прошлом декабре, теперь отпечатывался тираж июльского номера с Нобелевской лекцией, номер уже лежал в Главлите, и ждался разрешительный сигнал. (Внутри редакции уже сверяли вёрстку первых глав «Архипелага» для следующих номеров.) Внезапно утром 28 июня звонком из ЦК срочно вызвали Залыгина к секретарю по идеологии Вадиму Медведеву. Ясно было, что вызов не к добру. Залыгин поехал в большом напряжении. Медведев подтвердил ему: публикация «Архипелага» в ведущем журнале страны с полутора миллионным тиражом — невозможна! снять его с набора! (Как уступку выразил согласие ЦК пропускать эту книгу из-за рубежа, и даже где-нибудь в республиках напечатать ограниченным тиражом — но только не в «Новом мире»!) А Залыгин имел твёрдость заявить: «В таком случае — я и вся редакция, мы останавливаем журнал — и завтра же об этом будет известно на весь мир». Медведев — час ломал, душил Залыгина — и отпустил с угрозой: завтра утром поставить вопрос на Политбюро. Дима рассказывает: в полном мраке вернулся Сергей Павлович в столь же мрачную редакцию. С утра 29-го комнаты «Нового мира» были полны прослышавшими друзьями, все в торжественно-мрачном настроении. Вдруг, среди дня, после телефонного ему звонка, возбуждённый и помолодевший Залыгин вышел и объявил: Политбюро отказалось обсуждать вопрос о публикации, «поскольку это не входит в его компетенцию!» и поручило секретариату Союза писателей самому «экстренно рассмотреть»*.

* Ныне («Независимая газета», 12.2.2000) Вадим Андреевич Медведев сам рассказал эту историю со своей стороны. В октябре 1988 он совещался с видными гебистами и другими чинами власти. Начальник 5 Управления КГБ Абрамов, как и пресловутый потом патриарх партии Лукьянов высказались «за продолжение разоблачительной работы в отношении Солженицына». Другие — убедил Медведева отгородиться от «правовых аспектов выдворения», не имевших законного основания. В те-то недели Медведев и засел читать мои книги. Да, он де высказывался публично, но «никаких запретов на публикацию не налагал».

Они, наверху, испытывали «давление общественности» в конце 1988, а затем весной 1989. В апреле снова настаивал Залыгин, а Медведев предложил ему повторить прежние новоявские публикации, плюс «Корпус» и «Круг» (к тому моменту уже вынутые из спецхранов), — но не «Архипелаг». «Почему вы должны подчиняться его условиям? Надо постараться убедить автора». Однако в последний разговор, 28 июня, «позиция Сергея Павловича оказалась ещё более жёсткой» и «повернуть вспять уже готовящуюся публикацию „Гулага“ было невозможно». Давление читательское нарастало, и 29 июня вопрос обсуждался на Политбюро. «По отдельным репликам и выражению лиц было видно, насколько мрачная реакция у многих моих коллег по Политбюро». Решения — *так сказать* — не вынесли: «Имелось в

Совершенно невероятное решение! — да впрочем, по составу секретариата ничего хорошего и не обещающее. Но тут возникла идея: из «Нового мира» стали обзванивать журналы и издательства с настоянием: выразить в ССП телеграфно или личной явкой свою позицию. И многие так сделали, не отказались. 30-го с утра в секретариате уже была пачка обращений — а прознавшие нетерпеливцы толпились у входа в Правление, в сквере с Поварской улицы. Прошли внутрь приглашённые новомирцы.

Знойный день. Председатель (В. Карпов) снимает свой пиджак на спинку стула. И открывает коллегам, что «нам нет смысла придерживаться старой запретительной тактики по отношению к Солженицыну. Почему, собственно, нам не подходит „Архипелаг ГУЛаг“? Там всё честно, документально. Мы поддерживаем эту инициативу». — И затем — кто вполне искренно (как А. Салынский, ещё с 1966 года), кто сквозь зубы — согласились без возражений. И председатель заключает: «Давно не было такого единодушия секретариата». И постановливается: «Архипелаг» — печатать. Отменить исключение из ССП. Просить Верховный Совет отменить лишение гражданства.

Заседание не заняло и двух часов. (А ещё спустя час начался ликующий праздник в редакции родного журнала.)

И уже через несколько дней в «Новом мире» появилась моя Нобелевская лекция, а ещё через месяц — первый массивный кусок из «Архипелага», — тиражом журнала 1 миллион 600 тысяч. Жаждали мы этого, бились за это — а сейчас неохватимо: такая скрытая лютая правда — полилась-таки по стране!

Тотчас несколько советских издательств обратились с запросом печатать «Архипелаг» вослед «Новому миру» — и все между собой согласны на одновременность. — Впрочем, телевизионную передачу об «Архипелаге», с рассказом об аресте моём и высылке, с моим кличем 69-го года о Гласности, — станция затеснила на 1 час 30 минут ночи. Силы всё ж не дремали. — А ещё через месяц появился в «Литгазете» и отрывок из «Красного Колеса».

Ничто не приходит поздно для того, кто умеет ждать.

Лишь бы смогли меня прочесть на Родине широко, не только Москва с Ленинградом.

Так возникал вместо устойчивого пассата проклятий — переменчивый муссон славы? О, тут поосторожней: как этим кратким размахом славы послужить России точно и верно.

Да ведь всё ещё висит на мне — «измена родине» и лишение гражданства...

Однако от появления «Архипелага» — терзающая тревога охватила чеху Синявских. С новой неутомимостью эссеист кинулся в международные гастроли на борьбу со мной, не пропуская ни одной возможности. На конференции в Бергамо: Солженицын — вождь русского национализма! Вот скоро он вернётся триумфатором и возглавит клерикальный фашизм! (На собравшихся произвёл впечатление одержимости, так неистово заговорился, что итальянцы дали ему отпор.) — В вашингтонском Кеннан-институте: «Солженицын — расист-монархист, через 5 лет будет правителем России!» (И Кеннан-институт рассылал выступление Синявского в виде листовки.) — В Вильсон-центре — ещё дальше, ржавая труба беспроегрывного «антисемитизма» не должна же подвести! — и хлопают мягкие уши американских славистов.

виду, что писатели сами примут». А на следующий день писатели, кто рассвобождён, а кто вынужден, и приняли. Одновременно согласившись, что «не следует поднимать большой шум и превращать в сенсацию». (Примеч. 2000.)

А уж радио «Свобода» — там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, иже — о несомненном антисемитизме «Красного Колеса», — вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну. И чем же быстрее забыть советские уши? Да в третий раз завели целиком передавать шарманку-фантазию Войновича «Москва—2042».

Кому что по силам. В Москве — «Советская Россия» перепечатывает старое (1971) враньё обо мне из «Штерна». А «Знамя» напечатало резкий отклик Сахарова 1974 года на моё всё ещё не напечатанное в СССР «Письмо вождям». (Хотел я, для мирности, не печатать пока публицистику, не разжигать страстей, — нет, втраивают.) А «Правде» что по силам? Открыла серию статей против «Архипелага», с рогатиной — и Рой Медведев.

А нам? Как Гёте когда-то ответил Шиллеру в письме: «Будемте продолжать нашу работу и оставим их мучиться их отрицанием».

К нам? — потекли сотрясённые отзывы читателей на «Архипелаг». Довольно с нас.

В том счастливом году казалось, что прорвётся в бытие и мой сценарий «Знают истину танки». Ещё в июле 1988 И. А. Иловайская сообщила мне из Парижа, что живущий там в эмиграции прославленный польский кинорежиссёр Анджей Вайда хочет ставить «Танки»: раньше боялся, что его за это лишат гражданства, а теперь, кажется, можно рискнуть. Так вопрос его: буду ли я согласен? — Ещё бы! с радостью. — В январе 89-го И. А. сообщила: звонил ей Вайда, дела с фильмом движутся, решили снимать в Польше и ждут разрешения властей. Когда получают его — тогда надо будет встретиться. — Летом 1989 Вайда прислал мне письмо с готовностью ставить фильм: «Тот факт, что Вам угодно было доверить мне реализацию фильма по Вашему сценарию, — это самая великая честь и радость, которая могла мне выпасть в жизни». Правда, его несколько задерживал «страх перед трудностью возвращения в Польшу после такого шага». Однако «думаю, что подошло время, когда... фильм можно будет снять в Польше, и с актёрами, говорящими по-русски, на языке оригинала. Я работаю над таким решением вопроса и смиренно прошу у Вас ещё немного терпения».

Блистательное предложение! Когда-то калифорнийская группа затевала, — то был бы несомненный провал. А поляки — да, поляки могли поставить этот фильм, накал Гулага был им открыт, доступен, — и в славянском типаже массовых сцен не было бы неправды. Так я мог косвенно, через Европу, прорваться в советское происходящее.

Я с радостью ответил: «Не сомневаюсь, что Вам блестяще бы удалось, с полным пониманием духа этих событий». Но предложил, что ему естественней ставить по-польски, а потом переозвучить и по-русски. И предупредил, что к декабрю мой сценарий будет напечатан в СССР, в одном из журналов.

К концу года Вайда написал, что пока занят съёмкой фильма о Корчаке, а идея сохраняется: «Съёмки провести в Польше, где мы легко найдём соответствующую натуру», но «было бы идеально, если бы фильм удалось сделать в русской версии, то есть пригласить русских актёров, которые приехали бы из СССР в рамках совместного производства», даже — этот вариант для него «единственно приемлемый».

Однако время шло, дело затягивалось, потом, как-то не совсем для меня понятно, и вовсе отложилось, и замысел не состоялся*.

Полежал мой сценарий без движения 30 лет — полежит ещё 20—30?

* Спустя 11 лет вдруг читаю в «Московских новостях» интервью Вайды (6—12 марта 2001 г.: «Анджей Вайда, изгоняющий дьявола»): «Раз в жизни у меня был шанс сделать рос-

В сентябре 1989 Дима Борисов приехал к нам в Вермонт по командировке «Нового мира», прожил у нас недели три. Мы встретились с прежней неутраченной высшей теплотой. Казалось, он не изменился и за пятнадцать тяжких лет. Несмотря на такую разлуку — мысли его оставались ближайшими к нам. В обстановке московской резкой литературно-политической распри — *линию* нашу, во всех ответах прессе, он провёл безукоризненно. Обсуждали теперь предстоящие в СССР дела.

Уж сколько месяцев, опережая события, слали и мне и ему запросы об Узлах «Красного Колеса» — теперь подошла возможность начать и журнальное печатание. Но «Новый мир» уже столько моего будет печатать подряд — решили раздавать «Колесо» разным журналам, по Узлам, и даже по частям Узлов. (Практика довольно вредная: как читателю уследить за этим необозримым разбросом, если хочет прочесть «Колесо» подряд? А в *одном* журнале печатать — растянется на 5 лет.)

Главное-то, Диму заботило: началось уже книжное печатание. Он брал у нас для репринтного воспроизведения готовые Алины макеты рассказов, «Круга», «Корпуса», «Архипелага» и сделанный в Нью-Йорке набор Словаваря. Жалел, что придётся отдавать всё это госиздательствам («они все запчканы»), делился планами создать при «Новом мире» издательство своё, и — что бы стал в нём печатать. (За время его отсутствия в «Советском писателе» вышел 1-й том «Архипелага»: типографы — *сами* ускорили выпуск, напечатали за две недели! Вот это — народное чувство!)

В Москве предстоял Диме долгий шквал издательских запросов, корреспондентских вопросов и читательских писем. Но и в голову нам не вступало как-то пунктуализировать наши деловые отношения — они оставались в температуре прежних подпольных.

А уехал Дима — и пропал... Спустя два месяца, не дождавшись, пишу: «Откровенно сказать, тревожусь: Вы уже взяли на себя столько нагрузок, помимо моего представительства, что Вам будет трудно охватить всё равномерно. Пошли Вам Бог сил и сосредоточенности». И опять прошу — открыть полный зелёный свет всем *областным* издательствам — с «Архипелагом», а потом и со следующими книгами: «Затеваемое при „Новом мире“ издательство — дело долгое, сложное, Вы встретитесь ещё с проблемами и хлопотами, которых не представляете сейчас. Я прошу Вас настоятельно, чтоб эти дальние планы никак и ни в чём не мешали бы тем издательствам, которые хотят что-либо моё печатать. Прозу — *всем желающим* и без задержек».

...Отныне, когда стало безопасно писать мне письма, — усилился их прямой поток в Вермонт из Советского Союза — уже и по два-три десятка в неделю. Но напрасно было ждать от хлынувшего теперь большинства — выражения мыслей, чувств; а верней, эти чувства были — просьбы, вскрики и крики из самых разных дальних мест: пришлите денег! денег! шлите мне регулярные посылки! устройте печатанье на Западе моей поэмы! моего романа! запатентуйте в Штатах моё изобретение! помогите выехать в Америку всей нашей семье, вот и вот наши паспортные данные!

сийский фильм, и я им не воспользовался. И до сих пор меня мучают угрызения совести... Продюсеры сделали мне заманчивое предложение... чтобы я поставил фильм по сценарию [Солженицына] „Знают истину танки“. Это была история подавления бунта в советском лагере. Сценарий был великолепен: выразительные мужские и женские образы, взрывная динамика действия. Одним словом, мечта режиссёра. К тому же я был польщён, что великий писатель выбрал именно меня. Правда, я понимал, что Солженицын, будучи в эмиграции, как свободный человек увидел во мне другого свободного человека. Но я был не свободен от своей страны, для зрителей которой привык работать. А после такого фильма о возвращении в Польшу нечего было и думать. На эмиграцию я решиться не мог, как не мог представить себя вне Польши. Разве мог я хотя бы предположить, что при моей жизни рухнет вся система? Я часто потом думал: может, надо было всё бросить и делать этот фильм? Мне всё время кажется, что он сыграл бы важную роль в моей жизни». (Примеч. 2001.)

Определительно выявляли эти письма уже начавшийся огромный процесс: бегство России из России. Сперва побежали учёные, артисты, витии — но вот и из глубины масс вырывалась та же жажда бегства. Страшное впечатление.

Позже обильными пачками пересылали мне Люша и Надя Левитская письма, проходящие в «Новый мир», — эти были действительно читательские, и через них надышались мы: что ж за годы-годы-годы наслоилось в России.

С перетёком на 90-й год родина дала нам знать себя. И — бешеным звонком от ворот: рок-группа «Машина времени» предлагает устроить мою поездку по Советскому Союзу! И размеренным звонком из Вашингтона от советского телевидения: пора мне выступить у них, и вообще в прессе.

Да ведь только-только начали меня читать. И — что сказать раньше и важнее моих накопленных книг?

Вот — книги, книги пусть и льются.

Однако о ходе печатания, журнального и книжного, — я обнаруживаю себя в изводящей темноте. Дима, на беду, не очень справляется с нахлынувшим на него и никогда им не испытанным темпом.

Стал он завязать, завязать с сообщениями: как продвигаются дела? какие он принимает решения? Не отвечал на многие наши вопросы, задаваемые уже по второму и по третьему разу, не объяснял возникающих недоумений, путаниц, — да самих писем не писал по два и по три месяца, изводил долготами молчания. И по телефону Аля не могла добиться от него ясности.

Не находит okazji для *левого* письма? В январе 90-го прошу: «Думаю, что Вы иногда, потратив 10-15 минут, написали бы и *правое* письмо: всё ж за 2—3 недели оно дойдёт и что-то донесёт. А так — мы и по месяцам ничего не знаем». — В марте: «Зачем же Вы молчите так долго и так беспросветно?» Уже 3 месяца «от Вас ни письма, ни пол-записочки... вот Вы и не звоните уже больше месяца... Димочка, я отлично представляю, какая нагрузка на Вас ложится, да ещё как Вас раздёргивают звонками, письмами, запросами, визитами, глупыми предложениями, да к тому же Вы этой зимой и болели... Но просто: по сравнению со всей этой нагрузкой — одно бы в месяц плотное информативное письмо ко мне не много нагрузки добавило бы Вам, но многое осветило бы мне. Пожалуйста, не пренебрегайте этим».

Между тем притекающие к нам, с опозданием на месяцы, мои публикации иногда поражали небрежностью выполнения, равнодушием к качеству, даже и к простой грамотности. (Отъезжая от нас, Дима энтузиастически собирался даже лично корректировать тексты — да где уж! Потекли грубые недогляды. «Танки» печатали с нарушением моей сценарной формы, да Дима только от нас и узнал с опозданием, что сценарий уже напечатан. «Пленников» нашлёпали уж просто с разрывом строк, потерей ритма и рифм и многими опечатками, — ясно, что никто вообще не держал корректуры. А в одном московском журнале — опубликовали полностью бессмысленное сочетание отдельных глав из «Колеса».)

Ну что делать. просто — русская натура, беспорядлив в работе?

Для убыстрения связи послали ему домой факсовый аппарат и в «Новый мир» ксерокс. Вместе и с телефонными звонками — облегчилось дело, но не намного.

Жаловался, что не успевает заключать договора с областными издательствами. Что возникли трудности с бумагой для журнала. Оттого задерживаются номера, идёт война с типографией «Известий». И не удаётся пока выпустить подписной купон на задуманный им «новомирский» семитомник. И трудно найти развозчиков в обмин Минсвязи. И почём теперь бумага, почём картон... Да что такое?.. Разве *этим* Диме заниматься?

Но уже вскоре затем, летом 90-го, Дима прислал большое письмо с перечнем всего ныне печатаемого и разработанным планом: как будет печат-

таться дальше. За это время издательский кооператив, взявший название «Центр „Новый мир”», но от журнала независимый, получил полноту издательских прав («мы не нуждаемся больше ни в чьей издательской марке»), — и отныне, мол, все договоры от моего имени Дима будет заключать только с Центром, а уж Центр станет издавать книги с партнёрами, имеющими бумагу, переуступая им за определённый процент авторские права. Дима настаивал, чтобы я дал согласие на «эту схему».

Хотя Центр разделял наименование «Нового мира», однако это настоящее меня поразило. Что ж, всякий, кто хочет издать Солженицына, должен прежде *купить* это право у *Центра*? Зачем ещё такой посредник-монопольист? И я написал Диме (10.7.90): «Предложение передать все мои книги вашему издательскому центру — *начисто* не подходит мне: это значит — всё остановить и задержать. Нет — именно *всем* желающим издательствам надо давать, и в *этом* я вижу смысл Вашей деятельности для меня, и именно об *этом* прошу настойчиво, и главное — для областных издательств. Провинция для меня — важнее всего. Ваш Центр только начинает дышать, посмотрим, как он будет работать, тогда и поговорим». — И через месяц: «Я прошу Вас: до всех выяснений как-нибудь не начать непроизвольно притормаживать приходящие к Вам заявки от издательств, надо их *все* удовлетворять сейчас, *никак не откладывать* «на будущее», у будущего будет своя издательская пища... *Каждое* областное и центральное издательство, которое хочет издавать, — и пусть издаёт, не задерживайте их. Может быть, через год-два в стране будет такая обстановка, что людям будет не до чтения».

Дима был сильно недоволен моим отказом передать исключительные права Центру, ему казалось, что это «простое и ясное решение всех проблем», особенно *качества* изданий, гарантом которого будет Центр; да ведь будем в Центре издавать хорошие книги! — Нет, возражал я, хорошее дело так не строится, «для меня никак невозможно принять идею монопольного центра, как Вы её выдвинули. Контроля Центра над другими издательствами (и уже существующими по много лет, когда Центр ещё себя ничем не показал) — я принять не могу. Что областные издательства могут допускать опечатки и ляпы, ну что делать, это отражает уровень страны сегодняшний... Центру никто не мешает действовать самостоятельно, *наряду* с другими — не взамен их, не обуздывая их в свою пользу».

На том посчитал я тему закрытой. Но сколько, в самом деле, трудностей переходного времени ещё выросло и клубилось. Дима писал о бумажной блокаде журнала, о трудной судьбе семитомника, о развале всей системы книгоиздательства на родине.

А на Родине! — на родине что только не закипало — и всё грозное, и всё быстросменное. 1989-й был насыщен катастрофами. На многих окраинах Союза (впрочем — нигде в самой России) лилась кровь — и от национальных раздоров, и от войсковых подавлений. А весна та ещё была наэлектризована — первой после коммунистического режима грандиозной имитацией свободных народных выборов. Имитацией и потому, что отступлено было от всепринятой формы «справедливого равенства» общего голосования, вдвинуты *разнарядки* от организаций (в первую очередь — от ЦК КПСС), от академий, от творческих союзов, кому места обеспечивались по квотам. Правда, на остальные места были сенсационно разрешены выборы из нескольких кандидатов, однако фильтруемых искусственными «окружными собраниями». Принят был вид «свободных» выборов, но направляющая рука компартии действовала всюду насквозь.

Затем состоялся двухнедельный Съезд «народных депутатов», он сплошь транслировался по телевидению, захватив всё внимание миллио-

нов. Это было ошеломлённое счастье: видеть и слышать непредставимое, немислимое за всю жизнь. Да не для того сидели перед телевизорами, чтобы познать истину о своём положении — ещё бы им её не знать, — а в отчаянной надежде, что, может быть, от этого Съезда жизнь стронется к лучшему.

Академик Сахаров, ведомый как личным, так и групповым воодушевлением, принял жаркое участие в борьбе за право быть избранным на Съезд, выступал в избирательных собраниях сразу нескольких округов и само собою боролся в Академии наук. Тут он и прошёл, но вопреки многим препятствиям и махинациям: горбачёвские власти не без основания опасались Сахарова.

Далее во всём течении Съезда (как и в остатке всего 1989 года) Сахаров проявил выдающуюся энергию (удивительную при его тогда физическом состоянии), и в соединении с постоянной же принципиальностью. Выступал он и на массовых митингах в Лужниках. Он становился опасным оппонентом Горбачёва.

Правда, Сахаров не единожды выразил о нём вслух, в том числе и на Съезде: «Не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной». (А собственно, почему? чем Горбачёв так отменен? И не государственной дальновидностью, и не волей, и не привлечением народной любви. Разве вот — по инерции компартийного преемства.) Да никто в тот год в конкуренты и не выдвигался. Но Сахаров, своими усилиями, как бы хотел *поднять* Горбачёва до принципиальной высоты. От первого шага на Съезде: добиться дискуссии о программах и принципах ранее выборов председателя Съезда (это Сахарову, конечно, не удалось) — до личного разговора с вождём в драматические дни Съезда и до своих отчаянных попыток вновь и вновь получать слово с трибуны, где Горбачёв уже на просто грубо его отключал. Сахаров в ходе Съезда завоевал себе роль фактического главы оппозиции, не упускал многих важных вопросов, приходилось ему и перекрикивать шум зала, и подвергаться гневному гулу и обструкции. И, как верно выводит он: «На всех тех, кто смотрел передачу по телевидению... эта сцена произвела сильное впечатление. В один час я приобрёл огромную поддержку миллионов людей, такую популярность, которую я никогда не имел в нашей стране». И популярность эта — сохранилась во все последние месяцы его жизни, и до похорон: народ зримо увидел своего гонимого заступника.

Ещё и в последний день Съезда Сахаров напорно добился 15-минутного выступления; в его составе зачитал и «Декрет о власти» (он объясняет: «перестройка — это революция, и слово „декрет“ является самым подходящим»), где потребовал отмены ведущих прав КПСС, и закончил ленинским лозунгом Семнадцатого года: «Вся власть Советам!»

Так 1989 год стал вершинным годом Сахарова.

Вот и бастующие воркутинские шахтёры звали его к себе. Он не поехал, изнуряясь в боях Верховного Совета.

Быстропеременная и всё новеющая обстановка в стране — для верной оценки её, верной ориентировки в ней, верных, и в точный момент, государственных движений — требовала очень многое — почти сверхчеловеческое, не проявленное у нас за эти годы никем.

И кто бы тогда предвидел, что так жадно ожидаемые у нас освободительные реформы (да ещё — скорей! скорей!) — приведут к ещё дальнейшему грандиозному обрушению и ограблению России?

В последующие за Съездом месяцы Сахаров стал душой тогдашней (минучей) «Межрегиональной группы» — и из неё призывал всё население СССР к политическим забастовкам. И, уже перед самой смертью, с удовлетворением отмечал, что «забастовок было достаточно много», в том числе в Донбассе, в Воркуте, «во многих местах», «это — важнейшая политизация страны», «народ нашёл наконец форму выразить свою волю». (И в чью пользу выразил?..)

Нет, *народ* не дал себя увести от повседневного здравого смысла, великодушно согласился не замечать слабости сахаровских проектов. Он полюбил Сахарова не за суть этих проектов, а — за вмещающее сердце.

Ещё разрушительней был — проект Конституции СССР, предложенный Сахаровым в конце 1989: отныне Союз должен был составиться из равных во всём *республик* (в какую-то степень возвышались и автономные области и даже национальные округа, так что насчитывалось бы всех много больше полусотни, — и никакой другой структурной единицы, кроме *республики*. Создание нового государственного Союза предполагалось начать с его полного развала: возглашения *независимости* каждой из тех больших или крохотных республик (суверенных государств!), — а затем они могли выразить или не выразить желание объединяться в Союз. Каждая республика имела бы своё гражданство; свою денежную систему; свои вооружённые силы; свои правоохранительные органы, независимые от центрального правительства; приоритет её конституции перед законами Союза (но законам Мирового Правительства, напротив бы, все подчинялись); *ей бы* принадлежали вся её земля, недра и воды; и республиканский язык был бы в ней государственным. — Один раз в проекте сиротливо упомянута «республика Россия», без какого-либо пояснения, из каких же оставшихся клочков и каким географическим способом она могла бы быть составлена, а по правам своим становилась бы равна хоть и Таймырскому округу? То есть: dokonечное раздробление и ослабление России, живейшая мечта всех враждебных нам дипломатий. Где тут была хоть частица сознания исторической России и её духовного опыта?

С таким лихим разгоном — что бы дальше предложил, к чему бы призвал Сахаров в последующие месяцы и годы? — даже страшно и подумать.

Однако же и уравновесим: разрушаемую страну никто и не укрепил больше Сахарова: его ядерное наследство надолго поддержит её мощь и в разрухе. Теперь Запад, опасаясь у нас ядерного хаоса, *боится* мгновенного развала России, в общем-то желанного ему.

В несколько месяцев доведённый непосильными для него напряжениями и столкновениями, Сахаров скончался на 69-м году жизни.

Да в его христианской улыбке и в печальных глазах — и всегда отражалось что-то непоправимое.

Гроб с телом Сахарова провожал по Ленинскому проспекту нескончаемый поток из сотен тысяч людей. Москва не помнила такого множества — и по сердечному влечению. Стоял оттепельный декабрьский день, люди шли по щиколотку в мокреди. Ещё накануне и в тот день прошли многолюдные траурные митинги во многих советских городах.

На похоронах был и мой венок: «Дорогому Андрею Дмитриевичу с любовью Солженицын».

Но когда-то же должны соотечественники прийти в ясную мысль о себе?

В начале февраля 1990 я записал: «Каждый день, каждый вечер и утро по-новому разбираю, перекладываю, гадаю: мой долг и мои возможности по отношению к происходящим в России событиям. Ясно, что моё разъяснение Февраля практически опоздало: уже тот опыт никого не научит к нынешнему Февралю. (Но хоть написано будет о Девятьсот Семнадцатом! Кто б это *сейчас* взялся потратить на то 20 лет?) А зато я опоздал к событиям сам? А — что б я там сейчас изменил? много ли сделали Блок или Бунин в 1917? И даже Льва Толстого, доживи он до Семнадцатого, — кто бы в той суматохе слушал? Короленко же не послушали. Моё место — заканчивать мои работы. Когда-то раньше, в тюрьмах, мне представлялся конец коммунизма как великое сотрясение, и сразу новое небо и новая земля. Но это было в самой сути невозможно, и стало вовсе невозможно

после того, как коммунистическая система прогноила всё тело нашей страны, всё население её. И вот — отход от коммунизма проявляется в искорченных формах — не меньшая нечистоплотность, а где и мразь, и в возгласы страны, и в слышимых её голосах... А пути — всё равно надо искать».

И — как же?... Смутно росла мысль: написать публицистическую работу, обобщающую — и что сейчас есть, и что бы необходимо? В этот момент имя моё в России стояло (на краткое время) высоко. Сразу после прорыва «Архипелага» — должны б моё слово услышать? Опыта из политической истории России в XX веке у меня более чем хватало.

Мысли к работе — как обустроиваться России после коммунизма? куда и как бы двигаться? — копились у меня уже лет восемь-десять, да даже уходили корнями в послевоенные тюремные камеры, в тамошние споры 1945—46 годов. (В лагерях — никогда нет столько времени и свободы на размышления и споры, как в тюрьмах.) Выстраивалась не целостная государственная программа, это — непосильно издали, да и без экономики, в которой я не сведущ, — но всё же посильные советы, основанные на долгих годах моих исторических розысков.

И оказался: гораздо легче было бы ту работу выполнить прежде 1985 года: начинай с ноля и крои, и строй. А теперь, когда вся страна пришла в бурное смятение, — о, гораздо трудней.

Но тем и необходимей.

Конечно, подлинное возрождение России не в темпе, а в качестве, — однако всё кипит сегодня, оно не ждёт. И всё трудней понять: к чему ж идти?

А при таких бурных переменах — пока напишешь, опубликуешь — и где? — так ещё и устареет.

Всё же с начала 1990 уже сами наплывали у меня фрагменты текста, фразы. И я отложил другие работы, сел за эту. Теперь подгоняло, что я — опаздываю? слишком долго медлил?

К тому понуждали столичные воззвы о близком, полном, окончательном крахе материального бытия (столичного). И мы тоже не могли не поддаться этому густо притекающему настроению: что Россия — уже на горячем краю немедленной гибели. (А ещё главный-то скат в гибель — тогда был весь впереди, впереди.)

Но всё равно, моя мысль уставлялась так: разумно ли — гнаться только за моментом? Надо дать более спокойный, дальновидный разбор — намного вперёд? Невозможно дать «абсолютный» какой-то проект, но хотя бы вдвинуть охлаждающие и озадачивающие идеи.

Из того и другого сложились соответственно 1-я и 2-я части «Как нам обустроить Россию?».

Писал без зараньего строгого плана, само неудержимо вязалось, звено за звеном. Кончил за месяц. Потом работали с Алей. Уже и сыновья смышлют, уже и с ними советовался. И, для пробы, отослал на совет нескольким эмигрантам. (Важные поправки дали Ю. Ф. Орлов, М. С. Бернштам, А. М. Серебренников.)

Писал я брошюру для периода как будто и «гласного», но ещё далеко не свободного в мыслях. Ещё нельзя было поднимать многие проблемы во всей их полноте и масштабе, как они не вмещаются в «перестройку», и высказывать со всей прямоотой: мало того, что миллионы читателей не подготовлены к такому разговору, но и власти — всё та же номенклатура — не напечатают, да и всё. (По приходящим публикациям видел же я, как, как боялись затронуть Ленина или большевизм *в целом*. Из писем в «Книжное обозрение» тоже выступали закостенелые обломки и даже массивы коммунистического воспитания.) И вот надо было настаивать на преимственности *государственного* сознания, без чего невозможна мирная эволюция, — но отклонить же «преимственность» ленинской партийной власти. И надо было, пока не поздно, остеречь от безответственных черт парламентских демократий — но разве наших истосковавшихся и голод-

ных людей напугаешь возможными пороками демократического общества? казалось им: дай только демократию! — и сразу наедемся, приоденемся, разгуляемся!

Наконец, и сам язык статьи. Нельзя отжаться затрёпанному газетному языку, к которому уже так деревянно привык советский читатель политической литературы. Пишу сочной и ярче, в духе того волнения, без которого нельзя говорить о сегодняшней советской обстановке, — и слишком увлёкся выразительностью лексики. «Мы на последнем докате» — настолько катастрофичным уже тогда казалось и мне, как многим, состояние страны, — я ещё не предполагал, какие же запасы развала нам предстоят.

Одним из главных движений развала виделся мне уже вполне созревший распад Советского Союза. Многое вело к тому. И острота национальных противоречий, хорошо знакомая мне ещё по лагерям 50-х годов (а в советской повседневности заглушаемая трубами «дружбы народов»), — и тот безоглядный развал экономической и социальной жизни, какой повёлся при близоруком Горбачёве. Мне этот близкий распад страны был явственно виден, — а как внутри страны? видят ли его? Крушение Советского Союза необратимо. Но как бы не покрушилась и Историческая Россия вслед за ним, — и я почти набатным тоном хотел о том предупредить. Однако поди предупреди — и власти, и общество, и особенно тех, кто мыслит державно, гордится мнимым могуществом необъятной страны. А ведь государственный распад грохнет ошеломительно по миллионам судеб и семей. В отдельной главе «Процесс разделения» я призывал заблаговременно создать комиссии экспертов ото всех сторон, предусмотреть разорение людской жизни, быта, облегчить решение множественных переездов, кропотливую разборку личных пожеланий, выбор новых мест, получение крова, помощи, работы; и — гарантии прав остающихся на старых местах; и — болезненную разъёмку народных хозяйств, сохранение всех линий торгового обмена и сотрудничества.

И обнажал, как бесплодно, бессмысленно для народа (и очень выгодно для партийной номенклатуры) потрачены 6 лет «перестройки», и как уже мы расхаживаем в «балаганных одеждах Февраля», — между тем общество необузданных прав не может устоять в испытаниях.

И выше того: политическая жизнь — не главный вид жизни (а именно так всюду увлечённо булькало по поверхности страны), и чистая атмосфера общества не может быть создана никакими юридическими законами, но нравственным очищением (и раскаянием скольких и скольких крупных и малых насильников); и подлинная устойчивость общества не может быть достигнута никакой борьбой, а хоть и равновесием партийных интересов, — но возвышением людей до принципа *самоограничения*. И умелым трудом каждого на своём месте.

Отдельными главами разбирал я фундаментальные вопросы: местной жизни, провинции, земельной собственности, школы и семьи. И острейшую трудность представлял разговор на темы национальные, особенно имея в виду украинских националистов — главным образом галицийских, то есть проживших века вне российской истории, но теперь активно поворачивающих настроение всей Украины. Я знал, что «москали» прокляты ими, но зывал к ним как к *братьям*, в последней надежде образумления. Я испытывал их в самом слабом их месте: якобы антикоммунисты — они с радостью хватали отравленный дар *ленинских границ*; якобы демократы — они более всего боялись дать населению свободное право родителей определять язык обучения своих детей. — Я предлагал немедленно и безо всяких условий дать свободу отделения 11 союзным республикам, и только приложить вседружественные усилия для сохранения союза четырёх — трёх славянских и Казахстана.

И это была — только первая часть брошюры, о *сегодняшнем* моменте. (Сознаю, что в ней, в эмоциональном изложении, — а спокойный тон о

бедах был бы воспринят как равнодушие издали, — я не вполне чётко допустил тройственное употребление слова «мы»: мы — как *все* люди, человеческая природа; мы — как жители СССР; и мы — как русские.)

А затем — шла безэмоциональная, в методичной манере, вторая часть, сгусток всего, что мне за много лет занятий историей удалось собрать из исторического опыта. — Виды государственных устройств вообще. — Демократия как способ избежания тирании — и обречённость же демократии в её парламентарной форме определяться денежными мешками. — Как избежание этого порока — «демократия малых пространств», земство и вырастающие из него четырёхступенчатые выборы. — «Сочетанная система управления» — твёрдой государственной вертикали сверху вниз — и творческой земской вертикали снизу вверх. — Разные системы выборов (пропорциональная, мажоритарная, метод абсолютного большинства) — и как избежать изматывания и трёпки народной жизни от выборов.

И всё это я дал не как уверенный рецепт, а как *поисильные соображения* — и с вопросительным знаком в заголовке брошюры.

А дальше? Старт был стремительно обещающим. Едва Аля позвонила в «Комсомольскую правду», что вот существует моя статья такого-то объёма, — редакция отважно приняла её сразу — даже не читая! («Комсомолку» мы избрали за её огромный тираж, да она и только что напечатала «Жить не по лжи».) Узнав про то — немедленно взялась печатать и «Литературная газета», не чинясь, что будет не первая, на день позже. И всё это — по одному моему имени, ещё никто не прочтя и не разобравшись. И так в сентябре 1990 — в короткие дни напечаталась моя брошюра на газетных листах невообразимым тиражом в 27 миллионов экземпляров. («Комсомолка», однако, обронила мой вопросительный знак в заголовке, это сильно меняло тон, вносило категоричность, которой не было у меня.)

Вот уж не ждали мы такой удачи.

Так — все основы для широкого, действительного всенародного обсуждения?

А — как бы не так.

Началось, вероятно, с Горбачёва. Он так яростно возмутился моим предсказанием о неизбежности распада СССР, что даже выступил, на взгляд всему миру, в Верховном Совете. Якобы прочёл брошюру «внимательно, два раза и с карандашом» — но ударил, со всего маху, мимо: Солженицын «весь в прошлом», проявил себя тут *монархистом* (?? — вот уж ни звука, ни тени; всё та же залётная кличка, перепархивающий кусок сажки, рождённый ещё кем? да пожалуй Киссинджером), — и поэтому брошюра *нам* целиком не подходит, со всеми её мыслями. — В поддержку вождю выступили и два депутата-украинца, выразившие гнев «всего украинского народа» против моих братских инсинуаций, и один депутат-казак. В самом Казахстане бурней: в Алма-Ате демонстративно сжигали на площади «Комсомолку» с моей статьёй. И публично — этим и завершилось всё «обсуждение».

А не публично, нет сомнения: «Комсомолке», «Литературке» и вообще всей прессе была дана команда не печатать отзывы на мою брошюру, вообще не обсуждать её и замолчать. Успели нам из редакции сообщить: повалили сотни писем, будем печатать из номера в номер! — но лишь в одном-двух номерах проскочили густые, горячие, разнообразные читательские отзывы — и тут же оборвались. (Через два месяца, в конце ноября, обсуждения недосмотренно вдруг всплыли ещё раз и опять угасли.) Лапа Партии по-прежнему лежала на Гласности. Ещё в декабре самодовольно надутый «Коммерсант» изрёк плоско-близорукую рецензию. (Месяцем позже дошли до нас отклики украинских газет — эмигрантских и советских. Слитно: бескрайняя ярость и непробивное невежество.) А Горбачёв («я демократ и радикал») как раз испрашивал себе у парламента «особых полномочий».

Не точней Горбачёва оценили брошюру и на Западе. Например, Биби-си присудило: «нереальный план возврата к *прошлому* (?)», Солженицын не может освободиться от *имперского сознания* (это — предложив сразу отпустить 11 республик из 15, а остальным трём тоже не препятствовать). «Нью рипаблик» изобразила меня на своей обложке в ленинской кепочке — мол, приехал на Финляндский вокзал. По унылой однонаправленности «разнообразной» западной политической прессы — и другие на этом же уровне. (Не мог не внести своего пошлого отзыва и Скэмел: как ему промолчать? он же «первый специалист по Солженицыну», и все его спрашивают. Так вот: о «гласности» Солженицыну нечего сказать, вероятно он считает, что она зашла слишком далеко, — позабыл *биограф*, что именно я выкликнул эту «гласность» в 1969 году, когда никто этим словом и не поперхивался. А, мол, теперь Солженицын выявляется как «патриархальный популист со славянофильской страстью ко всеобщему согласию» — каковое, разумеется, вредно. И ещё же: Солженицын «наркомански склонен к „большим вопросам“ жизни». И вот по такой дребеденской умноте — учатся бедняги-студенты славистских отделений.) — В Германии и во Франции обрывки моих мыслей передали наскоро и искажённо. — Третьеэмигрантский журнал «Страна и мир» отозвался на мою брошюру взрывом негодования, а дежурный Войнович — ещё четырьмя передачами по «Свободе».

Ясно, что моя брошюра возмутила националистов-сепаратистов Украины и Казахстана. Националисты же русские и державные большевики — и слышать не хотели о предстоящем развале Империи. А поверхностные парламентарные демократы не могли и на дух принять глубокого взгляда на суть демократии, уж не приведи Бог истинного народоправства. Те, кто разгорячён политической каруселью: зачем нам эти подробные размышления о возможном государственном устройстве, когда вон на той и вон на той площади гудят актуальные политические митинги?

Но ведь были же ещё миллионы и миллионы «простых» читателей, и статья сама лезла в руки за три копейки. Пусть этим миллионам не открыли пути высказаться печатно — но они *прочли*? и — что подумали? и — как отнеслись?

Прошли месяцы — получал я разрозненные письма от них в Вермонт (много писем в те годы и пропадало на советской почте). И кто писал с большим пониманием, а кто — с полным недоумением.

А публично — почти и ни звука даже от тех заметных публицистов, журналистов, на кого не действовал запрет высказаться. Зато несколько гневных и развёрнутых больших статей против моего «Обустройства» — то почему-то от эстонского видного писателя Авро Валтона (эстонцев — ни волоском я не зацепил): нет, так дешёво Россия не отделается! пусть теперь она всем — и за всё, за всё, за всё заплатит! Или разливистая, язвительная, почти клокочущая статья публициста Леонида Баткина, сразу в нескольких изданиях, да ещё к тому же построенная на недобросовестном переде́рге цитаты.

А остальное *Общество*?

Удивлялись и моим набатным предупреждениям, — с чего это я? И моей тщательной разработке государственных структур, — кому это сейчас нужно?

Вот это равнодушие многомиллионной массы — оно ощутимо и ответило мне. В том, что я — за океаном, оторвался от реальной советской жизни? не толкусь там на митингах? Или в том, что со всем сгустком моего накопленного исторического опыта и красноречия — я пришёл со своим «Обустройством» слишком рано?

Да, не опоздал, а — рано.

В 1973, из гуши родины, я предложил («Письмо вождям») своевременную и, смею сказать, дальновидную реформу. Вожди — и не пошевельнулись. Образованщина накинулась с гневом. Запад — с насмешками.

Прошло 17 лет изгнания. Теперь, через океан, я предложил национально спасительную, а государственно — тщательно разработанную программу. Власть — легко заглушила обсуждение, националисты республик и российская образованщина накинулись с яростью. А Народ — безмолвствовал.

Ох, долгов ещё путь. И до нашего — далеко.

Уже немало лет жил я с невесёлым одиноким чувством, что в тяжком знании забегал от соотечественников вперёд — и нет нам кратких путей объяснения.

Между тем — вот это и была моя реальная попытка *возврата* на родину. Заодно и проверка — нужен ли я там сейчас? услышат ли меня? спешить ли вослед — развивать и воплощать сказанное? — Ответ был: нет, не нужен. Нет, не слышали. Государственные размышления — это что-то слишком преждевременное для нас.

Ещё в декабре 1989 горбачёвская власть милостиво процедила, что «лишённые советского гражданства могут подавать заявления на возврат» («Нью-Йорк таймс» сразу же сунулась к нам: буду ли я подавать? — то есть стану ли виновато на колени, прося советскую власть о прощении?..). — В январе 1990 вернули советское гражданство Ростроповичу и Вишневецкой. (Они не были расположены возвращаться, ответили: «Не вернёмся раньше Солженицына», то есть упиралось, опять-таки, в меня.) — В апреле 1990 «Литгазета», когда-то прилепившая мне «литературного власовца», теперь с запоздалым бесстрашием (да наверно и тут по команде сверху) потребовала: «Вернуть Солженицыну гражданство!» По отношению к высланному с таким грохотом это бы имело смысл и означало бы признание режимом своей, ну хотя бы, «ошибки». Но, всегда двусмысленный и нерешительный, Горбачёв не мог отважиться на такой шаг. В июне 1990, — по заявлениям или нет, не знаю, — вернули гражданство А. Зиновьеву, В. Максимову и Ж. Медведеву. А дальше — дальше, в августе 1990, соорили так: набрали список в две дюжины эмигрантов, из которых почти все уехали собственной волей, подавши в ОВИР просьбу о визе на выезд, вставили туда и меня и Алё — и объявили: перечисленные лица могут получить снова гражданство. И тут же вослед сорвался зав. отделом помилований Верховного Совета (Черемных), публично сорвал, что у меня были контакты на высоком уровне с советскими властями и я уже дал предварительное согласие. — Ну зачем же так лгать? Не было никаких контактов! — А все агентства звонят. Алё опровергла. — Тот Черемных всё равно на своей побаске настаивает. Корреспонденты опять же звонят, сенсация! Алё веско ответила через агентства и в «Нью-Йорк таймс»: лишение Солженицына советского гражданства (канцелярская бумага, в Америке и 18 лет прожил без гражданства) — было *одним из трёх* незаконных действий. Тяжче того — обвинение *в измене родине* и Указ о насильственном *изгнании*: лишении родной земли, друзей — и обречение сыновьям расти на чужбине. Так пусть начнут с тех двух.

Но на это — Горбачёв идти не хотел, не пошёл.

Вскоре за тем, очевидно вразрез горбачёвской нерешительности (но уже в решительности ельцинской, да Ельцин тогда мнилса самостоятельным русским голосом в советском многоголосьи), премьер РСФСР И. С. Силаев в том же августе 90-го опубликовал в «Советской России» (одной из самых злобных клеветниц за годы на меня и наш Фонд) приглашение мне приехать в Россию *его личным гостем*: «Теперь, когда противоречия [русской жизни] достигли высоты, чреватой новым расколом... Вы не будете связаны по приезду сюда никакими обязательствами, касающи-

мися Вашей дальнейшей судьбы. Программа же Вашего путешествия будет названа Вами, а моя миссия заключается в оказании Вам содействия».

Сильный момент. «Программа путешествия»? — ведь как в воду сморит: значит, по моей давней задумке, могу и через Сибирь?

Но ведь это — явная политическая игра. Ельцинская сторона играет мою карту против Горбачёва. И — мне в это сейчас ввязаться? А что изменилось в Системе? Пока ничего.

Если отдаться целиком политике — то конечно ехать, и немедленно!

И толкаться на московских митингах? на трибунах между Тельманом Гдлянном и Гавриилом Поповым? (Стиль Семнадцатого года, так знакомый мне...) Я политическую роль сыграл в то время, когда глотки были совсем одиноки. А теперь, когда их множество?..

Я — как раз кончил «Обустройство». Это — самый большой и глубокий вклад, какой я могу сделать в современность. На него и была моя надежда.

И ответил Силаеву: «Для меня невозможно быть гостем или туристом на родной земле... Когда я вернусь на родину, то чтобы жить и умереть там...»

Тут вослед ревниво прочнулся секретариат Горбачёва. От их имени главред «Комсомолки» Фронин позвонил к нам в Вермонт. Мнение секретариата: «Важно, чтобы Президент и великий писатель сохранили добрые отношения!» И — как же их *сохранить*, если ещё никаких и не было?

Двумя днями спустя — прямой телефон от Силаева — с предложением сотрудничать. Ещё вослед — живая курьерша от него в Вермонт с брошюрой «500 дней»... (Аля тут же для проверки сотрудничества попросила о начале легализации нашего Фонда помощи в РСФСР.)

В декабре 1990 объявили мне литературную премию РСФСР за «Архипелаг». Я ответил: в нашей стране болезнь Гулага пока не преодолена — ни юридически, ни морально; «эта книга — о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почёт».

Само собой, в осенние месяцы 1990 года, в одной из последних крепостей большевицких зубров, «Военно-историческом журнале», печатались надиктованные гебистами ложные «воспоминания» обо мне бывшего власовского журналиста Л. Самутина, у которого в 1973 и был изъят «Архипелаг», — печатали, пока вдова Самутина не разоблачила фальшивку публично, потом и в суд на них подала. Тогда журнал стал вколачивать костыль всё того же заржавленного, уже 14 лет как опровергнутого «доноса». И ведь — не новая какая бумажка, ну состряпайте новую! — нет, всё та же, всё та же. До чего ж они кипят на меня! И до чего же тупы.

Короткое время — год? два? — мнилось, что общественная волна, митинговая воля людей — может направить ход событий. Но нет, пока ещё нет.

В России и прежде — а в нынешней заверти особенно — влиять на события, вести их, может только тот, в чьих руках поводья власти. И для всякого — и для меня, если б я сейчас нырнул туда мгновенно, — единственный путь повлиять — пробиваться к центру власти. Но это мне — и не по характеру, и не по желанию, и не по возрасту.

Так — я не поехал в момент наивысших политических ожиданий меня на родине. И уверен, что не ошибся тогда. Это было решение писателя, а не политика. За политической популярностью я не гнался никогда ни минуты.

Вот если бы «Обустройство» обещало переменить страну — то немедленно! для самого этого Обустройства.

Однако оно прошло непринятым, ненужным.

Чего не достиг пером, того горлом — не наверстать.

Глава 16

К ВОЗВРАТУ

Переход на 1991 в СССР шёл очень будоражно. Многохитрый Шеварднадзе (про себя уже решивший уйти на Грузию?) — после всего, что он напутал и сдал во внешней политике Союза, — в декабре внезапно (и как бы угрожающе) заявил о своей отставке и мрачно предупредил о каких-то *тёмных силах*, которые что-то страшное готовят. Общественность сразу заволновалась, и были оглашены воззвания не допустить диктатуру. Да не Горбачёв был адресат для таких воззваний. Хотя за шесть лет успел он двусмысленными манёврами изрядно растряссти и разладить жизнь в стране — но не собрался бы духом ни на свою диктатуру, ни — противостоять чьей-нибудь. В общем настроении глубокого падения очередной беспомощный шаг Горбачёва был — мартовский референдум о сохранении СССР, — нервический поиск народной поддержки.

Однако при расшатанной всей обстановке в стране — что мог весить, какую опору представить референдум? Как поверхностно провели его — так за полгода результат его и смыло.

Год за годом мне всё больше виделся в происходящем даже не повтор Февраля Семнадцатого, а некая пародия, — настолько сегодняшние вещатели мельче, безкультурней и непорядочней прежней цензовой публики. (В феврале 91-го Давид Ремник, более других американских наблюдателей проникший в суть происходящего, — напечатал в «Нью-Йорк ревью оф букс»: Когда Солженицын в «Обустройстве» написал, что Перестройка ничего не дала, — эти слова казались жестокими. А сегодня — похоже, что так.)

А тем временем сложил-таки я с себя в 1990 полувековые доспехи «Красного Колеса», кончил!!

Что дальше?

Оглянулся, приотпахнул — а неоконченной работы сколько! Своего неразобранного!

Начать — с массива тамбовских собранных материалов, и сколько ездил за ними по области, — ведь всё это я прочил для «Красного Колеса». А теперь уже видно, отрезано — не войдёт. Кузьмина Гать, несравненный крестьянский поход на Тамбов — с вилами, под колокольный звон встречных сёл! Восстание в Пахотном Углу. Повстанческий центр в Каменке — уже так тщательно подготовленный в «Октябре Шестнадцатого». Мятёж в Туголукове (его ещё с «Августа» захватил размашисто) и партизанские окопные и летучие бои. Партизанство по Сухой и Мокрой Панде и в урёмках Вороны. И сам же Тамбов уже начат в «Октябре» — отец Алоний, Зинаида — и повстанческое Каравайново. И как Арсений Благодарёв стал командиром партизанского полка. Штаб Тухачевского в Тамбове. Семьи повстанцев — в концлагеря, доношительство на повстанцев — расстрел! И Георгий Жуков в отряде подавителей. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили на паперти. И весь накалённый сюжет с Эго. Да что теперь!

А разлив Освободительного Движения аж с 1901 года? Гнездование либеральных партий и группок, разлив амбиций и претензий. Нарастающий гремучий поток. Как либеральная ярость *общества* оттеснила работоспособное, скромное творческое земство. А ещё: история позднего русского либерализма туго переплетена с борьбой за еврейское равноправие в России, всё обостравшейся. И с начала же 900-х — эсеровский террор. За годы и годы — этих всех материалов взгромоздилась гора.

Сколько же накоплено — и оставлено за ободом «Красного Колеса». Отжимал, обрезал — чтобы обод держал, не распёрло. И куда это всё теперь? вовсе покинуть, выкинуть? — жаль.

Может быть, что-то, из того же Тамбова, спасу в отдельных рассказах. Давно я задумал и томлюсь по жанру рассказов *двучастных*. Этот жанр — просто сам просится в жизнь. Мне видится несколько типов или видов таких рассказов. Простейший: один и тот же персонаж, или два-три их, в обеих частях-половинках, но разделённых временем — хоть малым, хоть годами. (Да это само собой, и незадуманно, встречается во многих литературных сюжетах.) Второй тип: половинки связаны общей темой или идеей, а персонажи — совсем разные. Третий тип: связь половинок может состоять в каком-либо предмете, событии, коснувшемся обеих. Четвёртый тип: вариантный. Идёт единый рассказ до какой-то точки, оттуда раздваивается; от этого развилка могло пойти вот так (и что из этого получилось), а могло эдак (и что получилось). Правда, это уже рассказ скорее трёхчастный.

И хочется такие рассказы попробовать! Ведь никогда не живёшь без *следующей* задачи, это неизбежный закон: она поселяется в тебе даже раньше, чем закончена предыдущая. Это — и сильная помеха окончанию каждой книги, крадёт время, сбивает. Но это же обещает и негасимость движения.

В конце мая 1991 достиг нас телефонными путями из новосозданного, пока неуверенно призрачного Министерства иностранных дел РСФСР запрос: Ельцин (ещё тогда не избранный в российские президенты, но вот изберут на днях), спешащий в конце июня первым же своим визитом представиться Президенту Соединённых Штатов, хочет приехать часа на два ко мне в Вермонт. Готов ли я его принять?

Очень было неожиданно для нас. А по сжатым срокам американского пребывания Ельцина выглядело даже и авантюрно: где ж выкроить время? Из Вашингтона до ближнего к нам аэродрома — в лучшем случае два часа, да оттуда к нам — почти час. Стало быть, всего ему нужно часов семь, откуда ж он их наберёт? Но — ждут моего ответа.

С такой прямой — физической через океан, и ответственной по посту приезжающего, — вдруг живая и требовательная рука из России протянулась ко мне в Вермонт. Из одного сердечного порыва не мог Ельцин затеять такую сложность — ясно, что из расчёта политического, и ясно како: выставить меня своим союзником против Горбачёва.

Ещё в «Телёнке» был такой промельк: а вдруг зовут на встречу с вождями? Западные рецензенты объясняли эти строки мелко, как им доступно: честолюбием, мегаломанией. Ничего они не поняли: я отвергал и встречи с испанским королём, с двумя американскими президентами, — а советских вождей и вовсе ставил нижайше, какая мне честь с ними встречаться? Но если можно повлиять на оздоровительный ход в моей стране? И вот теперь — российский Президент едет ко мне сам?

Аля позвонила Козыреву в Нью-Йорк, передала согласие на намеченный день: встретим на ближнем к нам аэродроме, а потом, без большой свиты, к нам домой — и часовая беседа у нас.

Что же я скажу Ельцину наедине? Ох, много чего. Начиная с этого опрометчивого кувырка с «суверенитетом России», «днём независимости России» — *от кого* независимости? А миллионы русских в остальных республиках? их что, сбросим? — как же это у него в голове укладывается? И что это за мираж «конфедерации государств» из союзных республик? И — свежий тогда (майский) закон с бескрайними правами Госбезопасности, — что ж это делается? А ещё...? А...?

Я понимаю, что у всех деятелей, всплывших на Перестройке, нет ощущения долга и исторической России, нет сознания ответственности перед протяжённостью Истории, — откуда б набраться им в их партийном прошлом? И не пополнить же в политической суматохе. Однако в разговоре наедине, может быть, можно что-то веско передать. Издали Ельцин был мне симпатичен, и я верил, что в чём-то важным сумею его подкрепить.

Нуждается, нуждается он в подъёме уровня мыслей и действий; это так видно по его промахам.

В начале июня нам подтвердили, что Ельцин — условия встречи принял и рад ей. Ожидается в Штатах к 20 июня. Сопроводять его к нам будет охрана от Госдепартамента.

Однако сам этот шквальный приезд и эта необходимость немедленных политических заявлений — для меня, многолетнего неподвиги, — был резкий, внезапный удар. Вот так сразу вдвинуться в самую гущу российской политики? Ведь — дни, и недели, и месяцы, и годы проходили у меня в равномерной работе над рукописями, над книгами, в переходе от одного письменного стола к другому, — и хотя сердце моё выколачивалось от страстного отзова на политические события, попрашивалось к бою, — но вот когда так прямо вдвинулся в Пять Ручьёв призыв к политическому действию — я почувствовал себя не готовым, совсем не в том темпе. Да ведь только начни? После Ельцина, откройся эта дорожка, начнут приезжать и другие? И что останется от моей работы?

Но уже 15-го позвонил из Москвы благорасположенный к нам чиновник МИДа РСФСР: «Не всё можно сказать по телефону, но в Москве — некоторые колебания. Есть противодействие — и вообще поездке в Америку, и особенно визиту в Кавендиш». (Аля так и ждала: как только план Ельцина ехать ко мне выйдет из круга тесных советников — ему сразу начнут перечить и постараются не допустить поездки.)

И мы испытали облегчение.

А через несколько дней напряженье и вовсе снялось. Приехал Ельцин в Вашингтон — сутки никакого к нам звонка не было. Ближе к полночи позвонил Козырев: не приедет, не помещается в график. Аля дерзко спросила: «Что, не пустили? Было давление?» Козырев мялся: «Да, было. Но Борис Николаевич так переживал». Аля: «Передайте, пусть не переживает». И поспешила тиснуть: «Только, как бы ни давили, пусть не принимает программу „гарвардской группы” и Международного Валютного Фонда, закабалят». Тон Козырева стал заинтересованным: «А почему? Тут все очень настаивают». Аля, достаточно вооружённая, изложила ему всю вредность затеи и обречённость России на долговой капкан. Да всуе... Кто ж тогда предвидел всю трясиину, куда этот ещё никому не известный Козырев погрёбёт?

Ещё сколько б там я своими советами Ельцину помог, — а вряд ли.

И я освобождённо погрузился в свою работу.

Ещё в эти как раз дни, благодарный соседнему Дартмутскому колледжу за многолетнюю его помощь во всех моих библиотечных заказах по всей Америке, принял у них почётную степень. Каждый год куда-нибудь звали за степенью — неизменно отклонял. А тут не мог, — как бы я работал все эти годы без них!

Я в те недели и сильно болел. Из-за прохода желчных камней пришлось оперироваться, был и опасный момент.

А дальше — загорелось в Москве 19 августа, и мы все, с сыновьями, загорелись от него.

Создание ГКЧП легковесными языками было названо «путчем». Название это — никак не оправдано. «Путч» — это всегда переворот: какая-то кучка свергает существующую власть и занимает её место. 19 августа 1991 уже сидящая на власти кучка попыталась укрепить своё ослабшее положение. (И даже — власть в полном своём составе, ибо лукавый сокрыв Горбачёва в Форос никого не мог обмануть: он, по своей неизбывной нерешительности, просто страховался на случай провала.) Такими рывками по закручиванию гаек была полна история СССР на всём своём протяжении, десятки были подобных актов, они никогда не встречали народного сопротивления, и никто не называл их «путчами». Вся новизна была именно в том, что проступило сильное общественное сопротивление, а Ельцин

вовремя его возглавил. А коммунистическая власть, — и в этом-то и был Знак смены эпохи, — власть потеряла ту решительность подавления, какую всегда имела, и застыла в растерянности. Общественная раскачка Гласности уже оказалась по амплитуде так велика, что собирала к Белому дому тысячи и тысячи добровольных защитников — безоружных, но одушевлённых не уступить коммунизму вновь. Туда стянулись и все возрасты до мальчишек, и пенсионерки, и студентки, агитирующие танкистов не подавлять, да и сами воины за годы Гласности стали не прежние, уже тронуло их сомнение, допустимо ли действовать против толпы. (Не стану тут писать, чего не знаю твёрдо, но как будто американцы подпитывали Ельцина в эти дни и информацией о действиях противника и какими-то мерами поддержки.) Воодушевление москвичей перед Белым домом было вполне революционное. В меньшем числе оставались и на ночь, разводя костры и тревожно вскакивая при каждом подозрительном шуме.

Когда увидели мы по телевизору, как снимают краном «бутылку» треклятого Дзержинского — как не дрогнуть сердцу зэка?! В «Архипелаге» я уже признался, как, принципиальный противник Больших Революций, я всем сердцем увлекался мятежным зэчьим порывом. Так и 21 августа — я ждал, я сердцем звал — тут же мятежного толпяного разгрома Большой Лубянки! Для этого градус — был у толпы, уже подполненной простонародьем, — и без труда бы разгромили, и с какими крупными последствиями, весь ход этой «революции» пошёл бы иначе, мог привести к быстрому очищению, — но амёбистые наши демократы отговорили толпу — и себе же на голову сохранили и старое КГБ, и КПСС, и многое из того ряда.

Утёсные события! Мне казалось (короткие сутки): такого великого дня не переживал я за всю жизнь. Наше с Алей высокое волнение уже делили и трое сыновей. (Им было от 16 до 19, они как раз были ещё с нами: Ермолай — перед отъездом на Тайвань; Степан — после школы и перед Гарвардом; Игнат — после трёх лондонских лет и перед филадельфийским Институтом Кёртиса. Они всё горячо обсуждали, Митя возбуждённо звонил из Нью-Йорка, а Ермолай-то отмлада и навсегда кипел политикой.)

Но я, из исторического опыта, хорошо знал *минутный нрав революций*: направления целых потом эпох определяются короткими часами, получасами решений и действий участвующих лиц. И я тревожно отсчитывал эти полчаса и ждал определяющих деяний от победителей.

Упускаясь минуты, за ними — часы: отменить юридическую силу за Октябрьским переворотом 1917 — тем сразу очистить строительную площадку для обновлённой России, с правом наследовать всё лучшее из России исторической.

Нет! Оказалось, что главные действия их — мелочный захват себе престижных помещений в Кремле и на Старой площади, не забыть и автомашин власти.

Краегранный момент! — а Ельцин не разглядел никакого дальнего исторического смысла, ни великих перспектив, которые открывал удавшийся переворот, а, кажется, единственный смысл его увидел в победе над ненавистным ему Горбачёвым. И когда вся будущность России была как воск в его руках, поддавалась творческой лепке ежечасно и ежеминутно, и можно было быстро и безо всякого сопротивления начисто оздоровить путь России, — захватывали кабинеты и имущество... Вот их уровень.

Но 48-часовой переворот не просто расплылся в словесную пену — она тут же твердела и новыми острыми рёбрами рассекла тело России. Безопасно пережив вдали московские события, убедаясь в их окончательном исходе, коммунистические хозяева «союзных республик» — Кравчук, Назарбаев, Каримов и другие — в эти 48 часов обернулись в ярых местных националистов и один за другим возглашали «суверенитет и отделение» по фальшивым ленинско-сталинским границам.

Мой толчок был — немедленно опубликовать открытое короткое письмо Ельцину: не признавать административных границ между республиками за государственные! оставить право их пересмотра! И не принимать в поспешности пособия от Международного Валютного Фонда!

Аля — стеной заслонила, отговаривала меня: я этим — не помогу Ельцину, но могу вмешаться неумело, а то и бесцельно. И что громогласность советов через океан будет выглядеть бестактно. Ложный довод: помогать надо было не Ельцину, а народному сознанию — и в нужный час. Но я — уступил ей. И, упустя время, очень сожалею: я бы как раз подкрепил заявление президентского пресс-секретаря Павла Вощанова, последовавшее двумя сутками позже. Из окружения Ельцина единственный Вощанов осмелился высказать трезво, что «Россия оставляет за собой право на пересмотр границ с некоторыми из республик» (то есть — право на политическую память, переговорные напоминания, дипломатическое давление). — Боже! какой сразу поднялся гневный шум о «русском империализме» — не только в заинтересованнейших Соединённых Штатах, но ещё больше — среди московских радикал-демократов сахаровской школы (Е. Боннэр, Л. Баткин, и иже, и иже). И Ельцин сразу испугался, что он будет «империалист» и рвётся к диктатуре, — и взял назад сказанное своим помощником — и срочно послал Руцкого в Киев и в Алма-Ату немедленно капитулировать, что тот и выполнил. Слабы проявились русские нервы перед украинскими самостийщиками и азиатским настоящим. (И какой там Крым? — а ведь никогда украинским не был. Севастополь? А о Черноморском флоте и думать даже забыли.)

И вот эта общественность в те дни действительно ждала от меня громкого заявления, да не такого — а какой-нибудь восторженной приветственной телеграммы к «победе над путчем». Да уже изумлялись, да уже гневались: как я *смел* не выразить публичного восторга? Что я год назад предложил программу «Обустройства» — шут с ней, кому она нужна, её читать долго, — а вот короткое горячее заявление — где оно??

Это точно повторяло прежнюю ситуацию — как я смел молчать о Перестройке? не восторгнуться ею?

А — не только не в моём характере отдаваться буйной радости, — момент радости я тут же перешагиваю, как уже несомненно свершившееся, и ищу глазами: а что дальше? Теперь я с тревогой отсчитывал, отсчитывал часы, упускаемые Ельциным и его ближайшими, — и душа затмевалась. (Настолько не хватало и в Америке моего восторженного заявления, что и самая дружественная ко мне «Нейшнл ревью» вдруг напечатала отрывки из «Как обустроить...», сменив, где нужно, времена глаголов — как если б я это написал не год назад, а вот сейчас, в отзыв на августовские события.)

Я не предугадывал сочинского отдыха Ельцина, что он искал только двух-трёхнедельного пьяного торжества на берегу Чёрного моря — на малом клочке оставшегося российского побережья, а всё остальное море, за выход к которому Россия вела два века подряд восемь войн, да в придачу и с Азовским, — с лёгкостью подарил Украине, вместе с полудюжиной русских областей и 11—12 миллионами русских людей.

Я же, поскольку он вот недавно собирался со мной встречаться, считал себя вправе крикнуть ему о главных опасностях момента. И написал ему тревожное, уже не «открытое» письмо. Что «есть решения, которых не исправить вослед» [4].

Аля послала текст в Москву 30 августа факсом — прямо в руки Козырева. (И опять — не тот конь...)

Прошёл безотзывно почти месяц. В конце сентября от Ельцина пришло письмо в напыщенных тонах, с благодушными заверениями, что Россия — на верной дороге. (Да она-то, матушка, «вынесет всё», вынесет всё — но до каких же пор?) И — ни слова в ответ по сути моего письма [5].

Из этого ответа увиделся мне совсем другой Ельцин — не тот, недавний. Будто бы борец за справедливость, и не тот, которого я недавно ждал в Вермонте с наивными и тщетными советами.

А ещё прежде ельцинского отклика в том сентябре случись такой шутейный довесок: празднуется 200-летие штата Вермонт, в разные дни по разным городкам. Назначен день и для нашего Кавендиша, и меня зовут присутствовать. После Англии не выезжал я никуда уже 8 лет — ни в дальнюю, вот, Корею, ни даже по Штатам, — но как не почтить наших гостеприимных соседей в их скромный праздник. Поехали с Алей, Катей и Стёпой. И очень милый был праздник, со своим разнообразным, прелестным парадом по главной улице. А на церемонию приехал вермонтский сенатор Лихи (и привёз мне личное письмо от президента Буша) — а значит, и пресса, и телевидение, NBC. А значит — нельзя не ответить и на телевизионные вопросы.

А вопросы — какой глубины! (Ну надо знать эфирно-газетные средства XX века, и особенно американские.) «Согласны ли вы на переход России к рынку?»

Боже мой! Надо было мне полвека обдумывать «Красное Колесо» и неразгибно просидеть над ним двадцать лет. Пропустить через себя весь объём российской истории и российских проблем с конца XIX века. Прочсть наших мыслителей XX века. Издать два своих тома публицистики; когда-то «Письмо вождям», одна программа; теперь «Обустройство», вторая программа. И в дальнем бессилии изводиться от смутных шараханий российской обстановки. Но — кому это нужно, интересно? Вот — знаменитая американская деловитость: согласен или не согласен на рынок?

Американцы искренно не знают, что этот чаемый Рынок был в России ещё до великого Октября, и был он здоровый (даже когда не на юридических бумагах, а на честном купеческом слове), и люди здоровы. Чего другого — а Рынок был. А вот какой будет *сейчас*? Чьи неопытные руки запустят этот волчок крутиться, и каким кувыркком он пойдёт? И ещё малое сомнение: кроме Рынка — существует ли ещё какая-нибудь характеристика, свойство, сторона народной жизни? И вот всё это, весь этот объём и всю протяжённость — желательно покороче, лучше «да» или «нет».

Да, согласен. Но (сужу по строчкам газет, сказал): после 70 лет коммунизма и 6 лет полностью проигранной «перестройки» — предстоящая зима, с возможной нехваткой продуктов, будет проверкой нового государственного порядка.

Вот и исчерпана проблема.

А через три дня объявил в Москве новый генпрокурор — снятие с меня обвинения в измене родине: «За отсутствием состава преступления дело Солженицына аннулировано».

Вот теперь, впервые, — действительно можно возвращаться.

Так едем! — Когда? — На пустое место — не поедешь. Теперь, отведав глубокого рабочего уединения, я тем более уже не могу жить, не выживу в городской тесноте и колготе. И куда-то же — все огромные архивы за 17 зарубежных лет, библиотеку?

Значит, Аленька, ехать тебе на разведку. Но не вглубь же осени, — теперь ближайшей весной? Искать загородный участок. Покупать или строить дом. (От нашей высылки это будет уже третий кардинальный переезд. А говорят, и два переезда — пожар.)

Куда? Много манящих мест по России, которых просит душа. Всю жизнь я жил от столиц подальше. После «Ивана Денисовича» уж как зазывали в Москву — не поехал. Ну а сейчас, для конца жизни, пожалуй, можно и под Москвой. Проще будут все связи, практические дела. (Аля же — коренная и страстная москвичка, любит Москву всякую, и сегодняшнюю, со всеми новизнами.)

И возвращаться — ведь непременно весной: чтобы Сибирь и Север проехать летом. А к осени — успеть и на Северный Кавказ, в родные места. Получается, значит, — весной 93-го?

А пока — работать, как и шло. В российской круговерти и в разрыве требований — многого не допишу. (Мы и здесь, за 15 лет, так и не успели разобрать архивы, привезённые из Цюриха.)

Тут неожиданно пришло предложение — первое такое — от нового директора останкинского телевидения Егора Яковлева: дать для них, здесь в Вермонте, обширное интервью.

Обратиться — прямо, прямо к соотечественникам? Затеснятся мысли: что первое сказать, что главней всего?

А — кто это такой будет говорить? С чего вдруг его слушать? 17 лет запрета на родине — не мелочь. Целые поколения выросли, ничего меня не читавши. Всегда представлялось, что книги мои — придут раньше, наладят мне с читателями понимание. Теперь — да, уже два года меня печатают, но при нынешнем беспорядьи — книги вязнут, не продвигаются вглубь страны. Нестолличная Россия ещё мало меня прочла. Уже, вослед книгам, и публицистика моя печатается, — но и она либо опоздала к страстям, либо обгоняет понимание. И теперь — изустно излагать всё от исходного? от начала начал?

Отодвинул интервью на весну 92-го. Дать время книгам ещё.

Однако — нет, не помолчишь! В октябре 91-го вспыхнул кровотокающий, кричащий повод высказаться: назначенный на 1 декабря референдум о независимости Украины. И как же бессовестно был поставлен вопрос (впрочем, не бессовестнее горбачёвского за полгода до того): хотите ли вы Украину независимую, демократическую, преуспевающую, с обеспечением прав человека — или нет? (То есть *не* благоденственную, *не* демократическую, с подавлением прав человека и т. д.) Я — не мог не вмешаться! Откол Украины, в её русской части, — историческая трагедия, и раскол моего собственного сердца! Но — как крикнуть? Через какой рупор? Напечатали моё обращение* в «Труде» — самом распространённом в народе, прочтут и донецкие шахтёры, и крымчане. (Я предлагал подсчёт результатов по областям, может, оттянется к России хоть часть русских областей?) Но нет — проголосовали за отделение.

Вот и обратился... Впустую. (Оказалось: весь месяц до референдума все украинские газеты и ТВ были закрыты для голосов о единстве с Россией. И Буш перед референдумом не постеснялся открыто вмешаться: он, видите ли, за отделение Украины.)

Одурачили наших. Так потеряли мы 12 миллионов русских и ещё 23 миллиона, признающих русский язык своим родным. Какая ужасающая, разломная трещина — и на века?.. (Месяца два спустя пришлось Але побывать в Нью-Йорке и там случайно встретиться с делегацией донецких шахтёров. «Как же вы могли так проголосовать?» — спросила она. «А потому что вы нас объедаете. Приезжают целыми автобусами за нашими продуктами. Отделимся — нам сытней будет». — «А что ваших детей лишат русского языка, насильно в украинскую школу?» — «Ну, это ещё будет ли, и когда?..»)

Сколь же многие, многие в нашей стране растеряли под коммунистами и национальный дух, и чуть не всё выше простого выживания.

А Ельцин со своим правительством — на фальшивый украинский референдум даже бровью не повели. Зазияла независимость Украины — Ельцин доверчиво держался на поводу у Кравчука, умекая свою единственную цель: сокрушить Горбачёва до конца, выдернуть из-под него трон. Так потянули они на Беловеж — и скрыли замысел от Назарбаева (боялись его вдруг неподатливости?). Тем самым Ельцин махнул рукой ещё на 6—7 миллионов русских в Казахстане, поехал на лихой беловежский ужин и подписал декларацию, не получив от Кравчука *никаких* гарантий будущего

* «Публицистика», т. 3, стр. 357 — 358.

реального федеративного союза с Украиной. Кравчук, победив в референдуме, попросту обманул Ельцина (как он обманывал его и во *всех* последующих встречах): Украина тотчас враждебно оттолкнётся ото всяких связей с Россией (кроме дешёвого газа).

Так за короткие месяцы, от августа до декабря, Россия всем своим неповоротливым туловом вступила в Смуту, не назавёшь иначе, — в Третью Смуту: после Первой, 1605 — 1613, и Второй, 1917 — 1922. Размеры событий проступали неохватимые.

От Беловежа заволновались вожди остальных республик, — тогда тройка славянских лидеров сляпала иллюзорное, хилое СНГ взамен разломанного Советского Союза. Для России обманка на время, ярмо, и прикрыть, что бросили без защиты 25 миллионов своих соотечественников. — Так шаг за шагом наобум и с горячностью ступал Ельцин, — и каждый раз нельзя было ступить и поступить хуже для России.

Между тем у Ельцина не было мужества признать неотклонимые последствия Беловежа: что никакого «СНГ» не склеить вместо СССР — ведь бывшие партийные республиканские управляющие уже обратились в национальных властителей, со всеми тамошними складами оружия, аэродромами, базами, да даже и воинскими частями. — Потом (28 февраля 1993) претенциозное заявление: «Россия должна быть гарантом безопасности в пределах СНГ» — зачем? что за почесотка державная? Тотчас Шеварднадзе вскричал, что мы хотим уничтожить Грузию; с Украины голоса: «Не надо нам старшего и никакого брата!» (нельзя было напугать их медведистей), и правительство Украины тут же пожаловалось в ООН на державные притязания России. — А потому что (глубокомысленное новогоднее заявление Ельцина к 1994): «жить нам [СНГ] отдельно просто не дано, *наши народы этого не простят*». Если «народы не простят» — то думали бы прежде, в Беловеже. (Позже Ельцин как-то похвастал «эффективной защитой русского населения в ближнем Зарубежье», — только и пальцем к тому не пошевелили.)

А — внутри России? Избранный Президентом в июне 1991, Ельцин издал первый же свой указ — «Об образовании», какое благородное начало! — только ни одной строки его в последующие три года не было выполнено. — Вослед своему сопернику Горбачёву Ельцин так же дал вскружить себе голову похвалами, что он — демократ, «предан общечеловеческим ценностям», — и, единственный из всех вождей «союзных республик», предпочёл не национальные интересы своего народа, а расплывчатый «общий демократизм».

И вот теперь, когда отвалилось 14 республик, — сохранял ли он чувство ответственности за цельность оставшейся России? Нет! «Берите суверенитета, сколько проглотите!» Извращённо понимая так, что надо бросать экономические подачки каждой автономной республике, которая угрожает отделиться от России, — дал им распустить аппетиты до права не платить никаких налогов Центру — пусть всю Россию содержат только чисто русские области. Дальше Ельцин принялся заключать особые договоры с областями. (Целого с частью! — в каком государстве это возможно??) А ещё большей пронзали уколы сибирского сепаратизма: того и гляди, отвалится вся махина (ведь были такие попытки и в 1917)? Американская радиостанция «Свобода» из передачи в передачу злорадно, гнусно подстрекала сибиряков: отделяйтесь! отделяйтесь!

А едва отпраздновав беловежский разлом, Ельцин слепо, безумно погнал большую Россию в ещё новый прыжок — ещё усугубляя Смуту оголтелым разорением, окрестивши это миллионное разорение долгожданными экономическими «реформами», притом отдав Россию в руки случайных и проискливых молодых людей.

Вот когда привалила Главная Беда! А я-то, из отдаления, в «Обустройстве» с последним отчаяньем описал степень обрушенья, уже тогда проис-

шедшего. То было, значит, только предчувствие моё — чему ещё быть, наступить. Тогда-то, до Смуты, ещё можно было жить. Оказалось: всё, что до сих пор, в горбачёвское время, в России происходило, — это был только канун главной беды: авантюрной, жестокой гайдаровской «реформы» — и от неё обвала народной нищеты.

С готовой кабинетной схемой в голове, но без знания сути дела — пустились отчаянно резать и сечь скальпелем по беззащитному телу России. («Отпустить цены при монопольности производителей! — можно ли урядить беспутнее? И с какой пронизательной силой предвидения Гайдар предсказывал падение цен «через 2—3 месяца»?)

Мне, прожившему 55 лет жизни на советские копейки, этот необузданный гигантский рост цен пришёлся невместим — а уж куда невместимее он был моим соотечественникам, падающим в бездну. (Привезли мне новый советский металлический «рубль» — монетку 1992 года, размером с прежние 2 копейки — а копеек и вовсе теперь не стало! — я чуть не прослезился: в этой жалкой безвесной монетке от прежнего тяжёлого николаевского серебряного рубля — вся глубина нашего падения... Да не вся, не вся: падение ещё и теперь только начиналось, нисколько не беспокоя вершины власти...)

С 1992 года разворачивалась гигантская историческая Катастрофа России: расплзались неудержимо народная жизнь, нравственность, сознание, в культуре и науке останавливалась разумная деятельность, в уничтожительное расстройство впадало школьное образование, детское воспитание. Ходом пошедший развал России я воспринял как катастрофу моей собственной жизни: я отдал её на преоборение большевизма, и вот свалили его — а стало что?? Я и опасался же, я и «Обустройство» тем начинал: «Как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами».

Предвидел ли я всё это? Именно *эту* форму разрухи — нет. Но что дело может свихнуться в новый Февраль — более всего и боялся давно. Об этом — и всё «Красное Колесо», не успевшее в Россию. Да, Горбачёв развязал именно новый Февраль. А Ельцин покати — крушительно и стремительно.

Что же за человек Ельцин? Во мне всё ещё гнездилась изначальная симпатия к нему. (От надежды — что нагонит упущенное Горбачёвым?) В его облике, в речах и поступках я теперь видел много неуклюжего, медвежьего, замедленного — но не чувствовал в нём личной корысти, лишь долю довольно примитивного честолюбия да наивность, а ни коварства, ни двоедушия. И за эту его предполагаемую честность я был, по сути, его сторонник, несмотря на растущий список его чудовищных промахов, губительных ошибок, непоследовательностей, за которые за все расплачивался — кто же? никак не он — а Россия, своей территорией, своими жителями, своими богатствами и своим нравственным состоянием. Ущерб от этих потерь был почти неопиcуемый, неохватный — но никакой ущерб не был, я надеялся, причинён по злему умыслу Ельцина, а только по недомыслию? Хотелось верить, что не было тут расчётливого бесстыдства. (На упречно возмущённые частные письма о Ельцине я отвечал: что поделать? Вот это и есть наш русский характер: размахнись рука! а — лень мысли, нераскачка на дело, царь-чурбан. Какие мы есть — то и расхлёбываем.)

Из-за того что Россия — так неожиданно?? — и с такой быстротой стала падать в разбой и нищету — пережил я с 1992 года такую ломку мироощущения, какую нелегко выстоять, когда ты старше 70 лет. А придётся сильно отклониться ото всей прежней жизни, от той эпохи, в которой я до сих пор жил, от всех моих потраченных — как будто впустую? — усилий, и суметь войти в новую жизнь страны. (Да и — после восемнадцати неподвижных, погружённых лет разве сменишься так быстро на искромётное движение? Из лесного логова — и сразу в толкучку? Как-то должен повернуться во мне и мир внутренний.)

А — где же были в России русские патриоты? О, горе: нынешнее патриотическое движение безнадежно переплелось с коммунизмом, и, видимо, им не расплестись. «Фронт Национального Спасения» возгласил в октябре 1992 — «историческое примирение белых и красных», «подведём черту под Гражданской войной». За кого мириться? и где среди них были *белые*? А «черту подвела» ЧК уже к 1921 году.

Целебный, спасительный, умеренный патриотизм придётся — если придётся... — строить совсем на чистом месте и на новых основаниях. А как? Ещё сам не понимаю, но ясно, что: 1) из провинции; 2) исходя как из неизбежной данности, что наш народный характер расплывчат, ненастойчив, плохо сознаёт ответственность и плохо поддаётся самоорганизации.

Весной 1991 миновало два года, как я поручил Диме Борисову свои литературные права. А каждую весну должна была Аля послать в Швейцарию годовую отчёт Фонда: сколько во всём мире заработано «Архипелагом» и сколько из того — и как — потрачено Фондом. В 90-м «Архипелаг» уже издавали в СССР, да не одно издательство, и цифры эти должны были войти в мировой отчёт, — тормозила Аля Диму ещё с осени. Однако и до сих пор Дима не прислал ни единой копии: ни договоров ни на какую из книг, ни справок о заработанном, ни о потраченном, — только перечни текущих журнальных публикаций и готовящихся книжных изданий. (Тут ещё начал разгораться скандал вокруг подписного «новомирского» 7-томника, включавшего всеми жданный «Архипелаг»; Дима поручил его какому-то коммерческому ИНКОМу-НВ, а результат — взрыв негодующих писем: качество издания непотребное, а цена с доставкой в 3 раза выше обещанной!) Аля настаивала срочно прислать договоры и справки на издания «Архипелага», да теперь уж и на все издания вообще. Дима и прежде всякий конкретный от нас вопрос принимал с обидой. Теперь мы писали ему: Димочка! наше полное доверие к Вам не может автоматически распространяться на Ваших соиздателей и партнёров, особенно по нынешним временам. — Дима тянул, откладывал, но всё же тут, в апреле 1991, начала проясняться картина.

С долгим опозданием узналось, что уже в марте-мае 90-го Дима подписал без моего ведома два десятка договоров со своим «Центром», отдав ему на 3 года *исключительные* права на мои книги (а «Центр» тогда же — заключил договора с партнёрами, ибо сам издавать не имел сил), — но лишь в июне предложил мне *рассмотреть* такую схему действий *как проект*. И когда я сразу же её отверг решительно — Дима не признался, что она уже действует, и о тех договорах не вымолвил ни слова, ни ещё целый год потом. (А он и сам входил в тройку возглавителей «Центра».) И в августе 90-го, уже имея мой твёрдый отказ, Дима по той же схеме подписал договор с этим ИНКОМом, теперь, к его же отчаянию, надувающим подписчиков. (И по всем этим договорам «Центр» вёл двойную бухгалтерию: с бумажниками, печатниками, торговцами — по коммерческим ценам, и лишь с автором — по старым государственным.) Так что и «Архипелагу» (Фонду) даже от 3-миллионного тиража ИНКОМа причиталась бы смехотворная сумма. Под ливнем отчаянных просьб и нужд бывших зэков — принять эту резкую несправедливость невозможно. И вовсе немыслимо представить такой отчёт швейцарскому аудиту, — плутовство налицо. Аля начала изнурительные распутывания и передоговоры в пользу Фонда, в ходе которых обнажилось и всё остальное. (И всё равно обманули, не получил Фонд от миллионных изданий «Архипелага» на родине практически ничего.)

Дальше — горше. Случайно, из писем читателей, всплывала то одна, то другая моя книга, изданная под маркой «Центра» то в Петропавловске-

Камчатском, то в Херсоне, — а ни следа тех книг не было ни в прежних Диминых перечнях, ни нынче в той папке, которую наконец прислал он с уверенением, что теперь уж тут договоры — все. (И ни в одном из этих договоров не поставил «Центр» ни единого пункта о защите качества издания и защите автора от произвола, но в каждом — неперемный пункт о материальной ответственности автора перед издательством. Ну точно, как в своё время у Карлайл...) Да что! — тем летом, во время отлучки Димы за границу, обнаружили в редакции сразу 10 договоров на мои книги, о которых он нам не упоминал. (И так никогда, ни при встрече с Алей, не мог Дима этого объяснить.)

Непостижимо. Изводились душой от невозможности оторвать Диму от хватки деятельных коллег. Настроение в нашем доме было — как семейное горе. Ошибку — можно простить и миллионную. Обмана — нельзя перенести и копеечного.

Добило нас письмо из Новосибирска. Молодое издательство «Гермес» в ноябре 1990 обратилось в Димин «Центр» с предложением издать «Архипелаг» для Сибири. Они «связались лично с В[адимом] М[ихайловичем] Борисовым», сообщили, что имеют запасы бумаги на тираж в 300 тысяч в твёрдом переплёте, и «провели с ним серию телефонных консультаций, в которых, как считали, было достигнуто соглашение» об издании, сроках и проценте «Центру» за предоставление прав. Затем «В. М. Борисов направил к коммерческому директору своего Центра, а тот «сообщил, что издавать „Архипелаг” нет необходимости, т. к. „Новый мир” выпускает его трёхмиллионным тиражом». Но добавил, что издание возможно при отчислении «Центру» процента в 3 раза большего. — «Здесь уже оказались в замешательстве» сибиряки.

Да как это вывернулось? Да разве не умолял я разрешать «Архипелаг» немедленно — каждому, всем, особенно в провинции? *Мой представитель* с компаньонами — пресекают «Архипелаг»? оттого что недоплатили их самозваному «Центру»??

...А то столичное издание, из-за которого отвергали провинциальные, вызвало у подписчиков «Нового мира» гневное возмущение — нечитаемым тесным шрифтом, на отвратительной серой бумаге, в тетрадной обложке. При первой же партии тиража — 10 тысяч читателей отказались выкупить гадко изданный том. Писали, да со множественными подписями, куда же? — в ИНКОМ да в безвинную редакцию журнала, чью марку взял «Центр», и ошеломлённому Залыгину, и прямо ко мне в Вермонт.

«Получили первую книгу „Архипелаг ГУЛаг” и просто возмущены, складывается впечатление, что эта подписка устроена ради чьей-то наживы» (18 подписей). — «Разве знали подписчики на А. Солженицына, что... на такой книге, на таком авторе вы решили нажитья... Ваша коммерция не знает границ совести» (Смоленск). — «Являясь постоянными подписчиками вашего журнала, всецело вам доверяя, мы с радостью подписались на собрание сочинений А. И. Солженицына. Наша радость была преждевременна. Мы столкнулись с фактом чистого надувательства» (9 подписей, Пермь). — «Нас обманули; бумага плохая, переплёт мягкий, заранее не поставили в известность об увеличении цены в 2 раза, да столько же за доставку. Вот и живи не по лжи». — «Подписчики „Нового мира” попались на коммерческую удочку. Ваша организация, как лабазник, сбывла с рук дрянцо по завышенной цене» (Студент). — «Сколько было радостных ожиданий при объявлении подписки... Прекрасно помню те времена, когда поливали грязью Солженицына на всех углах и во всех изданиях. А теперь решили крупно заработать на его имени» (Ленинград). — «Обман и предательство... За это жалкое издание платить из пенсии обидно и больно» (Орёл). — «Такого „надувательства” от такого солидного журнала я не ожидала. Прошу сообщить адрес Солженицына, чтобы мы могли известить его, как, используя его имя и популярность, обманывают людей» (Яро-

славль). — [Солженицыну и Залыгину:] «Неужели не ведаете, что творите? — Вы, страстно желающие и советующие, как нам обустроить Россию?» (Рязань).

Стыд и боль какая: *во что* превратился возврат моих книг на родину?..

Щемит. Писал я свои книги — слишком рано. А придут они к читателю — слишком поздно. И — ничего не могу поделать.

И какая неожиданная симметрия Запада и Востока. Как прежде из Советского Союза, через Железный Занавес, я не имел сил управлять движением моих книг на Западе, — так теперь, перед возвратом, через разрисованное колыханье, не мог управлять движением моих книг в России.

Конечно, когда я передавал полномочия Диме — никто ещё не представлял, какая жестокая, беспощадная полоса — вот налегает на Россию. И сколькие, сколькие собьются с толку, потеряют себя в разыгравшихся соблазнах «Рынка».

В эту струю — изневольнo? беспомощно? — угодил и наш давний друг. Перестали совпадать наши сердечные биения.

Боль — и за него, и за всё — за всё, что стало твориться на родине.

В начале 1992 приезжал в Штаты, в один из университетов, Залыгин. Мы пригласили его к нам в Вермонт и радушно приняли, он провёл у нас дни как раз в начале масленицы.

Прорыв его с «Архипелагом», хоть и в ослабленной форме, но повторил прорыв Твардовского с «Денисовичем».

Сергей Павлович как-то мало изменился от прежнего простодушия, тепло мы с ним поговорили, рассказывал он о своей экологической борьбе, немало на неё положил, и с риском. Сочно рассказывал обо всей нынешней российской жизни. Обсуждали и издательские дела. Залыгин многого и не подозревал о делах «Центра», носившего новомирское имя.

А приезд его ко мне использовал и горбачёвский штаб. Ещё раньше к нам из Москвы донеслось, что «найлены военные дневники писателя и будут ему возвращены», шум по прессе. Я бы дико обрадовался, если б мог поверить, если б думал, что не сожжены? (Да на минуту и вознадеялся.) И вот, «по поручению Горбачёва», Залыгин вручил мне изъятия из моего лубянского дела. И что ж? Оказалась, конечно, липа: один блокнот моих политических записей на фронте, несколько писем и фотографий из фронтовой переписки. Одна только дорогая находка: среди записей — подлинник той самой «Резолюции № 1», которую мы с Николаем Виткевичем в январе 1944 сдуру сочинили и вывели своею рукой, каждый — по экземпляру для себя, и которая, вдовес к нашей переписке, определила нам тюремную судьбу.

В конце апреля от «Останкина» приезжала к нам телесъёмочная группа во главе со Станиславом Говорухиным, снимали фильм-интервью. Что-то мне удалось там сказать, а что-то важное потом урезалось — объёма ради. Более всего отрезвительно возразил мне Говорухин, когда я понёс бредовую мечту, что *кто-то, кто-нибудь* из палачей, насильников, номенклатурщиков — хоть *в чём-то* раскается. И — прав он был, конечно. А значит — нечистый, неискупленный, ползуче извилистый предстоит России путь. (А фильм показали в России — ещё четырьмя месяцами спустя.)

В приехавшей телегруппе меня с первого взгляда поразил — быстрым смыслом, юмором и тёплой доброжелательностью — кинооператор Юрий Прокофьев. Три дня они у нас работали, и на последнем застольи на его предложение «в чём угодно помочь» я ему ответил: «А — понадобится». (Сверкнула мысль — привлечь его к сибирскому путешествию.) Никак более не объясняясь — крепко ударили по рукам.

А в мае приезжал к нам в Вермонт мой давний друг писатель Боря

Можаев (Ермолай примчал его из Нью-Йорка, где отбился Боря от своей делегации). Это была — радостная дружеская встреча. Сроднились мы с ним не просто через Рязань, но особенно через совместные поездки в его родные места на Рязанщине, а потом — в Тамбовскую область, где сильно помог он мне собирать материалы о крестьянском восстании 1920—21. Прямодушие, открытость, готовность к доброму движению — всегда светом излучались от него. Не виделись мы с ним 18 лет — от их с Ю. П. Любимовым посещения меня в переделкинской осаде перед высылкой. Восемнадцать лет — а как один день, всё как прежде, и будто мы не изменились.

Теперь с ним первым обсудил я и план моего возврата через Дальний Восток — как я думал, весной 93-го, — чтобы помог он мне во Владивостоке, Хабаровске, хорошо ему известных, служил там флотским инженером. Проведав о существовании во Владивостоке Океанологического института — особо просил сговорить мне с ними встречу, очень уж своеобразное заведение.

А Боря между делом сказал мне: «Тебе бы в России газету выпускать!» Я как-то и ухом не повёл, скорее удивился. — А через месяц вступило мне в голову — как своё и как наитие: а отчего бы, правда, не газету? И эта мысль — сразу дала мне сил, рисовала динамичным возврат в Россию. (Пригодится и мой большой опыт чтения русской дореволюционной, ещё не разнузданной, печати.) Замелькали мысли. Хотелось бы — направить её как «народную газету», «газету русской глубинки» — именно *для неё* газета, и её чаяния выражать. Небольшая, четырёхстраничная, но плотная по содержанию, два раза в неделю. Без рекламы. А — на чьи же деньги? Какие деньги огромные нужны, ещё и для рассылки по разбитой стране, — где найти таких жертвователей? и такие кадры? — Нет, непосильно и затевать.

В том же июне 1992 пишет мне российский посол Владимир Петрович Лукин (уже лично знакомый, побывал у нас в доме, очень светлоумый деятель и теплосердечный человек), что в Штаты опять едет накороткой Ельцин; хотел бы меня посетить, но опять не будет времени. Не приеду ли я в Вашингтон к вечеру 15 июня? если нет — то поговорить по телефону.

И в голову бы не пришло мне ехать на знакомство, да ещё потерять три рабочих дня. А по телефону — не избежать, хотя за минувший год я в Ельцине сильно уже разочаровался: по общему ходу допускаемой им разрухи. Той весной Ельцин обещал ошарашенному народу: «Если к сентябрю не будет лучше — лягу на рельсы» (это запомнил ему народ навсегда). Надо думать — и сам верил? Что ж вся гайдаровская команда предвидела?

Наш телефонный разговор был сорокаминутный. Ельцин занимал время хлебосольным, разливистым приглашением в Москву. Мне — в динамике хотелось бы ему многое внушить, но разве это возможно? (Разговор у нас и походил на разговор напорного Воротынцева с медлительным генералом Самсоновым в Остроленке.)

О гибельном пути гайдаровской реформы. (Но ведь Ельцину через несколько часов — беседы на верхах Америки, что ж ему подбивать колени?) Сказал я: Гайдар оторван от жизни, делает — не то. Ельцин: «Он сейчас растёт; зато смелый». — О границах с Украиной и Казахстаном — ещё раз. (Бесполезно: Ельцин тут выразил настроение *дружить* с Кравчуком. И поддружился...) — Как защититься от террора кавказцев на юге, Чечню — не удерживать, а, напротив, отгородив границы, изолировать от России. И хотягят от нас уходить — пусть уходят, только без казачьих терских земель. — И как избежать воровской приватизации, не дать расхватывать лакомые кусочки! (Ещё и тут не представлял я масштабов Разграба!) И как нужна крепкая власть, и — жестоко наказывать тех, кто расторгивает богатства России. — А меня Ельцин спросил: можно ли отдать те Курильские четыре острова (тогда шла острая дискуссия), и очень был удивлён, что я не выдвинул возражений. (Если *можно* отдать десяток дей-

ствительно русских областей Украине и Казахстану, то держаться ли так страстно за маленькие — и правда не наши — острова с ничтожно малым населением? локальный вопрос, а Япония многим отблагодарит.

Не убедил я его ни в чём. Без прямой встречи — действительно, друг друга не понять. А если бы и прямая — надолго ли закрепятся в нём мои слова? или только до следующего собеседника?

В начале июля в Москве он добросердечно принимал Алю, я через неё послал ему недавно опубликованные материалы: как можно бы защитить Россию от бесконтрольного экспорта-импорта, утечки русских капиталов за границу, — он обещал непременно прочесть — да, конечно, всё впустую. Коменданту Кремля дал распоряжение помочь найти мне для покупки дачу под Москвой — не просто пошло и это. Аля уже месяц колесила в Подмоскovie с нашим другом Валерием Курдюмовым, где только не искали; теперь появилась надежда, — но так и вернулась домой, с участком обещанным, но не утверждённым и не оформленным. А на том участке — ещё дом построить? с кем? как? Казалось — неподым. (И уж никак — к следующей весне.)

И ещё была в Москве наиважная у Али забота: довести до ума начатую ещё при Силаеве в 1990 легализацию нашего Фонда в России. В эту поездку 1992 — много ходила по учреждениям, продвигала, чиновникам такое дело было внове, — но с переходом на 1993 Фонд уже легально действовал в России.

Все эти годы, от роспуска Горбачёвым политического Гулага, — искала Аля новые формы работы нашего Фонда. Теперь появилась возможность помогать и прежним, сталинским зэкам, с «моего» Архипелага, а к Фонду потянулись и бывшие раскулаченные, и дети репрессированных, и даже трудармейцы, — ведь наши беды неисчерпаемы. Оказий для пересылки лекарств уже не хватало, обычная же почта не обеспечивала сохранности, а то и самой доставки посылок. Помогла опять Люся Торн: сначала нашла путь защищённых отправок через Минздрав США, потом отыскала и надёжного получателя — Социально-правовую коллегия РСФСР, они получали наши коробки и передавали в Фонд. И весь 91-й и 92-й год Аля слала многочисленные посылки старым зэкам, доживающим в нищете, — лекарства, витамины, кубики супов, чай. Давала адреса и для американских благотворительных фирм, желающих слать помощь в Россию. Купила Соловецкому монастырю моторный катерок, у них не было своей связи с побережьем. — А в 93-м весь наш приход, отца Андрея Трегубова, включился в сбор тёплой одежды, обуви; Фонд закупал консервы, растительное масло, сухофрукты, бельё, прихожане во главе с матушкой Галиной всё это паковали, — и теперь уже мы посылали из Америки целые контейнеры с сотнями тяжёлых коробок — в Москву, Томск, Владимир.

Летом 1992 Аля с Ермолаем и Степаном прожили в России несколько недель (сыновья ездили и на Юг, в мои родные места, на тёплые встречи). Аля же за эти шесть недель много видалась в Москве и со старыми друзьями, и с новыми знакомыми. Повидалась и с Юрием Прокофьевым и открыла ему суть нашего с ним условного сговора: мой возврат через Сибирь и просьбу участвовать в нём. Он горячо взялся, не ошиблись мы в этом человеке.

Аля вернулась — уже вся в России, здесь смотрела на всё глазами невидящими.

Да в России — и я всеми мыслями, я из неё ни одного дня и не отсутствовал. А последние два года такая болезненно острая заинтересованность в ходе русских событий, что порой от них сжимает грудь стенокардия.

А приходило ко мне из России немало и прямых писем (ещё больше пропадало в пути), — и в них неизвестные мне люди обсуждали мой возврат-невозврат. Сильно перевешивали отговоры: «Надеемся, вы не будете торопиться в Россию»; «не спешите с переездом!»; «Россия сейчас — стра-

на пороков всех времён и народов; молодое поколение вас не знает»; «вы больше полезного сделаете там, чем если вернётесь»; «по-прежнему ощущаем тиски старой власти, повремените с возвращением!». А один бывший экз-уголовник, дружески: «Как бы тебе тут башку-голову не свернули бы твоей доброхоты».

А другие напротив: «Приезжайте, не упустите время!»; «все, кто стремится к лучшей будущности России, должен жить здесь»; «кто-то должен сплотить безгласные миллионы, из русских людей сформировать силы спасения»; «Родине, и мы это ощущаем, необходимо ваше личное присутствие, ваш живой голос, который бы звучал; приезжайте!».

О, конечно же! — вот *этим* людям я нужен! Да, могут быть и фанатики с ножами, с пистолетами — однако и Господь же есть, вот и вся моя охрана. Именно — вернуться, пока ещё есть силы поездить по областям, есть силы отдать в русскую жизнь всё накопленное. Ах, если б стал возврат каким-то рычагом к подъёму нашенских дел. (Заодно — и жизненный урок: и сыновьям моим; и многим-многим в России, кто ещё не сбежал на Запад или обречён оставаться.)

Ещё с 1987 третьеземигрантские публицисты предупреждали с тревогой, что я «уже собираю чемоданы», «тайно готовлюсь к прыжку в СССР». Теперь их братки из метрополии сменили дудку: почему сидит в Вермонте? почему не едет? да уже и опоздал, всё пропустил? да и не нужен он тут никому, «в нафталин его!».

Откуда у образованщины такое исключительное многолетнее раздражение ко мне? Не оттого ли, что моё поведение перед советским режимом было им практическим упрёком: что можно было и не гнаться, что я смел действовать, когда они в затаённости не смели. Ну и, конечно, за национальное направление: «быть русским», «русскость» — это полагается в себе скрывать, стирать как постыдное, и уж во всяком случае не проявлять русских чувств полновесно.

Освобождённая и оттого бесстрашная российская пресса после недавнего потока похвал кинулась меня обгаживать — мало меня покусала советская неосвобождённая. Так — и всегда по закону психологии. Замелькали газетные заголовки понасмешливей («Солженицын? который?», «три бороды в одном тазу», и ещё в этом духе). Смеяться-то смейтесь, а между тем за эти годы Гласности пришлось образованщине постепенно и незаметно признать: государственное величие Столыпина и мразь Февраля, — в главном они мне уступили.

А ещё ж и фанатики коммунизма хрипели от ненависти ко мне. На лекциях о моих книгах всегда кто-нибудь выкрикивал угрозы. А русские националисты не простили, что я не выражал твёрдости отстаивать «Великую Россию» в её имперской ипостаси. (Впрочем, ненависть ко мне одновременно с *разных* сторон — довольно веский признак, что линия моя верная.)

А в массе — людям хочется и необходимо верить — во что-то, в кого-то. От наступивших перемен — как было стране не ждать непременно и сразу — чуда? Таким возможным чудом мнилось и моё вмешательство. Вот, может, этот приедет — и сдвинет, и всё изменится?

Но чем заняты сегодня российские деятельные мозги? Экономикой, экономикой, «реформой», «ваучерами», коммерческими банками, — во всём этом я менее всего понимаю. (Только то и понимаю, простым глазом, что народ — бесстыдно и ловко грабят.) И нельзя представить, как я сейчас, по приезде, — сумел бы усостыжить новых воров и новых чиновников: не грабить народ.

Окликала меня Россия и иначе: во многих десятках, если не сотнях просьб. Чаще всего: помочь семье выехать в Америку. Ещё немало писем: выехать больному и сопровождающему на лечение в Европу или в Америку, тоже понятия не имели, сколько это стоит, в десятках, если не сотнях тысяч долларов, и сколько ж надо хлопотать — а кому? разве у меня есть

для этого штат? — И из уже отколовшихся республик: «Умоляю, помогите семье переехать в Россию!..» Иные пронзающе: «Христом Богом заклинаю, помогите!» — но неохватно мне помочь. Больно было пропускать это всё через сердце. — Потом многие просьбы: напечатать на Западе рукопись, издать книгу, — это при полной немощи русских издательств здесь, и тоже ведь не понимали. — И просто рукописи, сборники стихов навалом, чтобы читал, отзывался, — да разве все их прочесть?.. Не ошибусь, сказав: из каждых десяти писем с родины девять содержали только просьбы, лишь в одном — существенные мысли о России, о сегодняшних бедах её.

Почта писателя... (А что в России будет? Стократно всё это же.)

Слегка стал я касаться и самоновейшей литературы — третьемигрантской и выплывающей на Запад из советского подполья. Да, видно произошёл надрыв русской литературы, пролёг резкий рубеж: до дикости чуждые приёмы и мерки. И читать — совсем неинтересно, даже отвратно. Необратимая смена эпох? Или просто *Порченная литература?* — так я назвал её для себя.

Между тем политическая свалка в новой России всё накалялась — и на самом же бесплодном направлении. В полном небрежении оставались 25 миллионов русских в бывших советских республиках (никто и не пошевелился забирать их, хотя бы из пылающего Таджикистана или из Чечни, где русских безнаказанно теснили, грабили, убивали). И в какую пропасть летит страна с провальными гайдаровскими реформами — не забота. А весь накал, как у двух козлов, столкнувшихся на мостике, пошёл на борьбу между группой Ельцина и группой Хасбулатова. Как годом раньше Ельцин видел только одного врага — Горбачёва, а раскромсание России казалось ему второстепенным, так сейчас важно было раздавить Хасбулатова и изменника Руцкого. Ото всего этого к концу 1992 года развилось напряжение, грозившее полным хаосом в стране.

(А парадокс, усмешка истории, которую не замечали участники той борьбы, состояла в том, что «демократы» — ради поддержки своей надежды Ельцина — защищали план конституции авторитарной России. А Верховный Совет, большей частью коммунисты, всей душой преданные тоталитарности, — эти, чтобы только подорвать Ельцина, вынуждены были ратовать за демократию. То есть обе стороны действовали не по принципу, а по политической тактике.)

Выступать перед народом систематически и *объяснять* свои действия и планы, как это делал Рейган и другие западные лидеры, — Ельцин не имел ни личной способности, ни охоты (да недоступно было и советникам сочинять: что ему говорить при таких провалах, при таком кричащем несоответствии слов и дел?). Однако перед московской интеллигенцией, как, очевидно, внушили ему, иногда надо было изъясняться. И он собирал избранных, обычно в парадной кремлёвской обстановке. И в ноябре 1992, через два месяца после того, как не «лёг на рельсы», высказывал на «конгрессе интеллигенции», по чьей-то шпаргалке, премудро: «Мы недооценили инерцию прежней системы. И результаты реформы оказались в зависимости в меньшей степени от радикальных действий правительства, а в гораздо большей — от ритма жизни, от стереотипа поведения людей». (Постыдники! Если вы и *инерции* не предусмотрели — о чём же вы вообще думали, заваривая кашу? — И опять у вас этот неисправимый народ виноват, не ценит благодетелей?) — Двумя месяцами спустя ещё одно объяснение на Совмине: Ельцин «не согласен, что 1992 потерян для России. Была бы катастрофа, если бы не начали реформы. Они пошли по единственно [уже!] возможному варианту. Был огромный дефицит мужественных людей, готовых взять на себя всю тяжесть ответственности. В тех условиях неуместны были дискуссии [даже дискуссии?] о том, какую модель реформ проводить, не было возможности выбора команды... [И нашли Гайдара-Чубайса...] Не было опыта решения таких проблем...». — Посмели и без

опыта. Только для того, чтобы показать кукиш робкому Горбачёву? И для сего — требовал Ельцин, и вырвал от Верховного Совета, «чрезвычайные полномочия» на полтора года.

Но не найдя никаких шагов реальной политики, разумного изменения правительственного курса, — Ельцин поддался истерическому проекту победить своих врагов путём суматошного всеобщего референдума (апрель 1993) — «политический рычаг для реформы». Сколько воззваний, пропаганды, какая трата душевных сил народа и финансовых сил государства, и, конечно же, откровенная покупка голосов (через утроение денежной эмиссии мнимо повысили зарплаты и пенсии, а цены на энергию обманно не повышали до референдума, после него сразу же повысили). Задабривая противников, Ельцин давал уже интервью «Правде» (2 марта 1993): «к коммунистам надо относиться с уважением, как и ко всякой партии, кроме фашиствующих». Все «лучшие силы демократии» бросились поддерживать Ельцина. Тут — и манифест Е. Боннэр: все силы на поддержку Ельцина! «каждый солдат знает свой манёвр».

Среди вопросов референдума был один, дающий возможность прямо осудить гайдар-чубайские реформы. (В невероятном ответе ограбленного народа, что он одобряет их, — выделось свидетельство подделки голосования.) Но о поддержке твёрдой президентской власти? — не видел и я другого выбора.

Тут — обменялись мы с послом В. П. Лукиным открытыми письмами. Нужно было искать мирное соглашение при каком-то балансе между спорящими сторонами. Я писал: «За четырнадцать месяцев народ и вовсе повергнут в нищету и в отчаяние»; «идёт массовый, невиданного размаха разграб и дешёвая распродажа российского добра, страну в хаосе растаскивают невозвратно»; «Президент с министрами не должны, не могут пренебрегать уже годичным стоном народа, что реформа ведётся не так». Однако сама президентская власть, глядя далеко в русское будущее, нуждалась в поддержке сейчас этого опрометчивого Ельцина, наделавшего уже столько грубейших ошибок*.

Увы, именно с момента, когда власть отдалась Ельцину в руки, — руководство Россией всё явней становилось ему не по плечу. Он думал укрепиться охватностью и действенностью государственного аппарата, — и в короткое время непомерно тяжеловесный советский госаппарат под Ельциным *утроился* (!) и стал ещё более тяжеловесным и бессмысленным. Попытки обозреть его приводят ко впечатлению то ли чудовищному, то ли анекдотичному. Администрация Президента (огромного объёма). Управление делами. Президентский Совет. Совет Безопасности. Совет по кадровой политике (из трёх комиссий: по судебным кадрам, зарубежным и военным). Аналитическая служба. Экспертный совет. Центр специальных президентских программ. Аппарат советников — ближайших и не столь близких. Ещё отдельный аппарат по взаимодействию Президента и парламента. Формальное правительство (из министров либо безразличных, либо бессильных, либо корыстных) с переменным числом вице-премьеров: то их пять, чуть не до семи, то только два, — а через несколько дней снова увеличивается. А ещё же — тёмный кружок наиболее приближенных советников — начальник охраны, главный тренер по теннису, — да хуже распутинщины!

До Ельцина доносилось, что напложенные в тысячах демократические чиновники стали почему-то брать лихие взятки и распродавать народное добро? — в апреле 1992 он издал грозный Указ: «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» — и никогда не была исполнена ни одна строчка в нём и не подвергнут проверке ни единый пункт — и никогда

* «Публицистика», т. 3, стр. 390 — 392.

не был проведён ни единый публичный процесс над крупным хищником. Да ведь как-то и проговорился Президент: «Своих — не выдаю». (Женщина на улице спросила перед телекамерой: «А мы ему — не свои?..»)

А пока на Але — наше устройство в России. Порекомендовали ей архитектора Татьяну Михайловну Чалдымову, стала Аля с ней (приезжала она к нам в Вермонт) обсуждать план будущего дома, где б разместить и те огромные архивы, что уже накопились за 20 лет (а не опасно ли так прямо сразу их везти на взбаламученную родину?) и что нарастут в России, и библиотеку. Из двух домов, жилого и рабочего, занимаемых нами в Вермонте, не так легко втиснуться в один, значит — немалый. Для удаления меня от шумов, семейных и хозяйственных, сочинила Чалдымова два крыла под углом, очень удачно. Вообще, художественная изобретательность и вкус были у неё. Ранней весной 1993 она начала и стройку дома, сразу взяв стремительный, всем на радость, темп. (К тому времени покупка дома на пустовавшем участке в Троице-Лыково была уже совершена, но дом тот, по ветхости и размерам, был непригоден.) Поздней весной 1993 Аля, поехавши снова в Москву, увидела участок и была очарована его лесной зелёностью, тишиной и близостью к Москве*. Стройка двигалась бурно всё лето и осень, но, как часто бывает, настигла полоса трудностей — и зимой, при первой же оттепели, по всей площади потекла крыша. В январе 1994 стало ясно, что дома не будет к нашему переезду, а может, и до конца года не придётся в нём жить. (Нескончаемые хлопоты легли на супругов Курдюмовых, согласившихся разделить с нами будущую жизнь.) Однако и откладывать дальше возврат в Россию невозможно — временно устроимся в городе.

Но и сам переезд, после двадцати лет изгнания, — это не с дачи бы в город. Уже года два, предвидя мой возврат в Россию, несколько телевизионных фирм — американских, английских, японская, французская — всё шлют запросы, что желали бы иметь исключительное право на съёмку фильма о моём возвращении на родину. И кому-то, даже неизбежно, надо было такое право дать — просто чтобы не допустить обидной и постыдной свалки-драки конкурирующих телесъёмщиков. Однако все эти фирмы предполагали, конечно, мой прямой прилёт в Шереметьево (вариант, которого мы с Алей даже никогда и не обсуждали), ну и путь по Москве до дома, вот и всё, — никто ведь и предположить не мог дальнего кругового пути через Дальний Восток.

А — как к нам по Сибири ехать? С двадцатью ссадками с поездов и столькими же посадками, сиденьем на станциях в разное время суток, и ночами, и зависимостью — найдётся ли нужное число билетов в один вагон? и нужное число мест в гостинице? И после этих бессонных передраг — с какой несвежей головой — встречи с местными людьми? выступления? поездки по округе?

О нашем плане возвращаться никак не через Шереметьево только и знали Боря Можаяев и Юра Прокофьев. Последний и объяснил Але в Москве, что никакая телевизионная фирма российская при их нынешнем организационном и финансовом развале не сумеет устроить такую поездку и снять такой фильм. Значит — выбирать из западных. Изо всех запросчиков — мы предпочли Би-би-си как кампанию с давней отличной репутацией. И достать постоянный вагон — такой, в каком они целый год колесили по всей стране с выездной редакцией программы «Время», — взялся неутомимый Прокофьев.

* Место это действительно составило отраду моей старости. (Примеч. 2000.)

В апрельском референдуме Ельцин «одержал победу» — и что же? Что с неё дальше? А — ничего. Ельцин растерялся. *Реально* он по-прежнему не мог ни предложить, ни сделать. Кипело (или стыло?) на верхах всё то же патовое состояние двоевластия. Продолжало катастрофически падать производство, падал курс рубля (до пределов лилипутских, а финансовому жулью это-то и выгодно), чиновные и коммерческие разграбители угоняли за границу сокровища наших недр, и валюта оседала там, Россия уже перестала себя кормить, во второй год великих реформ продукты в городах продавались западные, и цены росли каждую неделю, — но чёрт с ними! но как при всём этом победить Верховный Совет?.. И новая блистательная мысль родилась (май 1993) в президентском окружении: теперь провести *ещё один референдум* — для принятия Конституции! Однако всё же — устыдились, и заменили нелепейшим Конституционным Совещанием — произвольно и непредставительно составленным и не имевшим никакого права принять Конституцию, а только давать рекомендации к ней.

И вот *этот* тягостный момент всё длящегося беспомощного двоевластия, эти месяцы с мая по сентябрь 1993 — я ощущал как самые опасные для России: месяцы, когда решалось: развалиться ей на части или уцелеть? (А у меня эти месяцы ещё были отягощены подпиравшими новыми болезнями, двумя предстоящими операциями. Сказал Але: «А грудь-то всё давит. Если по дороге через Сибирь умру, в любую минуту может случиться, то не вези меня никуда дальше, похорони в подходящем месте поблизости. Я буду счастлив лежать в Сибири».)

Верховный Совет, естественно, использовал силу народного неприятия псевдореформ и занял по отношению к Ельцину и его правительству — оппозицию. Но по своему изрядно коммунистическому происхождению и при честолюбии Хасбулатова (выбор самого Ельцина! — знаток сердец...) — эта оппозиция приняла самые разрушительные формы. Хасбулатовский Верховный Совет, да ещё укреплённый дезертирством Руцкого (выбор самого Ельцина! — знаток сердец...), — не рухнул, а по-прежнему ярился в бой против Президента. В тот же первой 1993 коммунисты устроили полувооружённое уличное выступление с бесчинством.

И хасбулатовская и ельцинская стороны, судорожно стягивая и покупая себе союзников, кинулись обе — губительно давать политические взятки-обещания автономным нацреспубликам, — и республики эти еженедельно возрастали в своём значении и требованиях. И Ельцин реально уступил некоторым права и привилегии, которых никогда позже отобрать не сумеет, да и не попытается. (В эти кризисные месяцы России всё активнее стал действовать «Совет Республик» — управительный орган, уничтожающий Россию, обезглавливающий русский народ: Россия имела там 1 голос наряду с 21 автономией.) А в мае 1993 Ельцин ещё и так им потакнул: «внешняя и оборонная политика автономных республик», — он допускает и такую! (Татария тут же стала засылать за границу свои международные представительства; якутская конституция возгласила собственную армию.) С Татарией было много переговорных раундов — и всякий раз новые уступки от Ельцина. И тогда покинутые сиротами русские области и края — стали в отчаянии, чтобы урваняться, объявлять себя тоже «республиками» — Дальневосточной, Уральской, Пермской, ещё и ещё какой-то... Нависал полный развал России — едва ли не в неделях.

Разрывалось моё сердце на всё это гляючи. Это пагубное двоевластие изводило меня. В гуще событий казались, наверно, важнее перипетии партийных столкновений — а издали-то более виделись трещины по телу России, как они уже прорезались, — уже геологическое явление. И сейчас — не выжить России без сильной президентской власти, нет у нас опыта парламентского правления. Я изневольнo оставался на стороне Ельцина,

хоть столь бесталанного, неуклюжего, столько уже провалившегося (русская судьба, не выдвинулся у нас правитель предвидчивый и заботливый о народе), — только бы, только бы уцелела Россия!

Весна-лето 1993 были моими последними в Вермонте, последней возможностью ещё поработать в привычности. Тут я и писал две предстоящие речи — в Лихтенштейне и в Вандее, и вообще готовился тщательно к европейской поездке, которую мы с Алей затеяли в сентябре-октябре как «прощание с Европой». (Мало-мало мы в ней побыли за 20 лет рабочей жизни, а сейчас у меня укрепилось сомнение, достанется ли мне ещё когда побывать в Европе, да и в эту поездку я ехал с уменьшенными силами.) В лихтенштейнской речи я, по сути, повторял прежнюю критику западного общества, но мягче, и уже присоединяя к тому жребью и новую Россию — как она потекла теперь туда же, вопросов себе не ставя.

А прежде того, в июне 1993, я второй раз ездил в памятный мне квадратный двор Гарварда, где 15 лет назад произносил речь, — а в этот раз на выпускной праздник Ермолая. Тем летом (Аля в Москве, Игнат на фестивале в Марлборо) Ермолай и Степан усиленно, на двух компьютерах, помогали мне сворачивать к переезду мои работы.

...В Лихтенштейне, в Международной Академии философии, я произносил речь по-русски, отдельными короткими группами фраз, а Ермолай, заранее переведший речь, стоял рядышком со мной и озвучивал сказанное по-английски. (Эта система себя очень оправдывает: создаёт у слушателей полное впечатление связного текста на понятном языке — и не в отрыве от интонации говорящего на языке исходном.)

Старого нашего знакомого, герцога Франца-Иосифа II, мы уже не застали в живых. Банкет нам давал его старший сын, наследник, впрочем, сильнее озадаченный произошедшим как раз в тот день правительственным кризисом в его герцогстве. На следующее утро ему предстояла парламентская битва за своего доверенного премьера — итак, мы осматривали замок и многочисленные его коллекции уже без хозяев.

Остановились мы на два-три дня у Банкулов в маленьком Унтерэрэндингене. — Туда приехал со шведской телегруппой незабвенный наш *невидимка* Стиг Фредриксон. Сердечно встретились — и дал я шведскому телевидению давно-давно обещанное интервью.

Прошлись прощально по Цюриху — какой всё же привлекательный город, и как органически сочетаются в нём добротная многовековая старина — и самая модная (не всегда добротная) современность. (И сколько он мне дал для ленинских глав!)

После чего покатали поездом в Париж.

Во Франции — как всегда, мне особенно тепло. На улицах множество парижан узнавали меня и приветствовали, останавливались сказать благодарное; уж двадцать лет повелось, что во Франции я чувствовал себя как на второй, совсем неожиданной родине. Была встреча с парижской интеллигенцией. Два-три интервью. Большой «круглый стол» по телевидению, всё у того же Бернара Пиво. Говорили много о нынешней России, спрашивали, что буду делать на родине по возврате. Заверил я, что не приму никакого назначения от властей и не буду затевать избирательных кампаний; а вот поскольку буду говорить, не считаясь с политическими авторитетами, то не удивлюсь, если мне ограничат доступ к телевидению, к прессе*.

Принял нас с Алей премьер Балладур, а мэр Ширак сам посетил меня в гостинице. Эти две последние встречи я использовал, чтобы со страстью

* «Публицистика», т. 3, стр. 421 — 423.

внушать им мысли в пользу страдающей России (что бы им — простить нам царские долги?..). Было и прощание с издательским составом «Имки», с Клодом Дюраном, и с моими многолетними переводчиками, неустанными, талантливыми и ещё высочайше добросовестными в проверке деталей, оттенков слов (присылали мне контрольные вопросники) — супругами Жозе и Женевиёвой Жоанне. (И всё «Красное Колесо» легло на них, и частью попутное, что я за эти годы ещё издавал.)

А поездку в Вандею я ещё чуть ли не за год согласовал через Никиту Струве с префектом провинции Де Вилье. Я задумал её сокровенно — и теперь осуществил, к раздражению левых французских кругов. (Так слепо у них до сих пор восхищение своею жестокой революцией.) Де Вилье угостил нас бесподобным народным, массовым (но технически оснащённым современной же) традиционным их спектаклем, изображающим на открытом воздухе, на огромной арене, в тёмное время, но при многих световых эффектах — историю Вандейского восстания. Ничего подобного мы с Алей никогда не видели и вообразить даже не могли. В последующие дни мы повидали историческую деревню, сохраняющую весь быт и ремёсла XVIII века, прошли и подземный музей, с большой силой воспроизводящий ухоронки повстанцев.

Щемящее впечатление! — и никогда не выветрится. Кто бы, когда бы восстановил в России вот такие картины народного сопротивления большевизму — от юнкеров и студентиков в Добровольческой армии и до отчаявшихся бородатых мужиков с вилами?!

Теперь предстояла поездка в Германию. Мне очень хотелось туда — ведь я её видел только с прусского края, в войну. Поехали (из Парижа поездом на Рейн) — в гостеприимный дом Шёнфельдов, когда-то привезших нам в Цюрих благоспасённый архив «Колеса». Петер Шёнфельд устроил встречу в Бонне с германским президентом Вайцеккером. За обедом и после него я, вероятно слишком напорно, говорил в защиту русских интересов, Вайцеккер стал вежливо сдержан и — как-то успел распорядиться погасить уже сделанные вокруг резиденции многочисленные корреспондентские фотоснимки, лишь один проскочил в печать случайно. — В остальном — германскую столицу мы обминули. Избранное тихое гощение у Шёнфельдов привело к заглушке моего пребывания в Германии, зато сохранило нам неповторимую возможность мирно осмотреть жизнь средне-рейнских городков, побывать и у статуи «Великой Германии» — Стража на Рейне — на правом берегу, на круче, а лицом — против Франции, достопримечательность, переставшая быть туристской, а впечатляющая. С подробнейшими объяснениями нам удалось осмотреть и соборы Майнца, Вормса. Почтительно озирали мы эту мрачную готику, любовались уютными улочками благоустроенных малых немецких городков — знакомились с древними камнями Европы и тут же прощались, — а в глаза так и наплывали ждущие нас российские полуразорённые поля, укромные среднерусские перелески, деревянные переходы через ручьи и бревенчатые избы, далеко перестоявшие сроки своей жизни.

Всё же интервью 1-му германскому телеканалу было заранее сговорено на 4 октября — так совпало! — в этом тихом доме Шёнфельда. А днём неожиданно накатило известие о пушечной стрельбе в Москве, пока смутно, неразборно, — но главный вопрос ко мне и был об этом. Разгон Верховного Совета*, пока ещё не ясный ни в каких деталях, однако вытекающий из всего предыдущего конфликта, я воспринял как тяжёлый, но выход из тупикового мучительного двоевластия в России. Казалось мне, нынешнее столкновение властей — неизбежный и закономерный этап в предстоящем

* Устойчивое отвращение к коммунизму заслонило мне тогда, что ведь тот Верховный Совет и стал выражать противостояние гай-чубайским «реформам». Да и фигура Хасбулатова в качестве отца России — очень мешала мне. (Примеч. 1995.)

долголетнем пути освобождения от коммунизма. Я понимал так: *неизбежный*, если Российскому государству суждено существовать и дальше — в двоевластии ему нет бытия; и *закономерный* — что должна была проиграть сторона, державшая знамёна коммунистические. (Примерно так, неделей позже, выразил я и в интервью Независимому российскому телевидению.)*

...Из Германии забрали нас приехавшие на автомобиле муж и жена Банкулы — в поездку через Австрию в Италию. Уже не оставалось времени ехать в Вену; но Зальцбург, проездом, и западная Австрия удивительно хороши. Когда-то великая Империя, вот сжалась же Австрия до маленькой, а с какой густотой сохранила отстоенную традицию веков. Сохрани её Бог от великих разорений Будущего.

Италия же не была для меня нова после нашей с Банкулом поездки в 1975 году. Тогда мы не докатили до Рима, теперь достигли его, и прожили здесь даже четверо суток, много ходили. Подлинно сильное впечатление оставили Forum Romanum, Колизей и Катакомбы. Всё остальное — скорей разочаровывало сравнительно с ожиданием. Может быть, на меня накладывалась нарастающая болезнь.

В Риме же была аудиенция у Папы Иоанна-Павла II. (Я пошёл с Алей и В. С. Банкулом, говорящим по-итальянски, но весь разговор переводила И. А. Иловайская, с неисследимо давних пор — преданная католичка, а теперь и активная помощница Папы.) Саму эту встречу Папа назначил в знаменательный для себя день 15-летия занятия им Ватиканского престола.

Величественная анфилада Ватиканского Собора. К Папе я шёл с высоким уважением и добрым чувством. В прежние годы были между нами, в устных передачах третьих лиц, как бы сигналы о прочном союзе против коммунизма, это прозвучало и в нескольких моих публичных выступлениях. Он тоже видел во мне важного союзника — однако, может быть, шире моих границ. Я отчётливо выразил это в разговоре, напомнив, что католические иерархи в 1922—27 годах, при разгроме русской православной Церкви, налаживали сотрудничество с коммунистами в откровенном (но близоруком) расчёте — с их помощью утвердить в СССР поверх праха православия — позиции Церкви католической. Мои замечания явно не были для Папы новостью, но отемнили его лицо. Он возразил, что это была лишь инициатива отдельных иерархов (во что мало верится, зная дисциплину католиков). — В какой-то связи я упомянул энциклику «De regim povatum» папы Льва XIII — и по его отзыву понял, что Иоанн-Павел очень не чужд социалистических взглядов — и это легко понять, и естественно для христианского иерарха**.

В декабре меня неожиданно поздравил с 75-летием телеграммой Ельцин. (Не знает, что в Европе я и критиковал его сильно?) Неизбежно отвечать. Я ответил суровым перечнем сегодняшних российских язв (в которых главная вина — его.) [6]

* Лишь в России я понял, что вели Ельцина вовсе не государственные соображения, а только жажда личной власти. Уличные расправы были жестоки беспричинно и до бесцельности, а верней — террористически нагнать общий страх. Число погибших 4 октября превзошло число жертв «Кровавого Воскресенья» 1905 года, никогда не прощённого Николаю Второму.

Но патриотическое крыло надолго вперёд не забыло мне моего заявления о *неизбежности* и *закономерности*. (А Владимир Максимов, последние его годы что-то лютея в своих печатных репликах ко всем вокруг, ещё подтравил, передёрнул, будто я назвал разгон не «неизбежным», а *необходимым*, вот, мол, до чего докатился писатель-гуманист.) (Примеч. 1996.)

** Этому Папе-славянину ещё предстояло почти удвоить свой срок на Ватиканском престоле — и сколько же, сколько же поехать по миру, из последних сил благовествуя. А напряжение с Православием так и не уходит, и чаемый Папой приезд в Россию всё не составляет. (Примеч. 2002.)

Юбилей мой не обошли и некоторые западные газеты — но с оценками и мерками, давно у них устоявшимися: «Солженицын — в опасной близости от националистов, шовинистов; вернувшись в Россию, не примет ли объятий с ложной стороны?» (Какая нечистая совесть уже столько лет толкает их буквально взывать к Небесам, чтоб я оказался яростным «аятллой», чтобы въехал в Москву на коне и сразу ко власти? Без этого у них почему-то не сходится игра. И как же они будут разочарованы, когда ничто такое не состоится? Впрочем, и утрутся с такою лёгкостью, как будто ничто подобное ими и не гужено-говорено уже второй десяток лет.)

Ну, и другой постоянный мотив: «Да кто нуждается в Солженицыне сегодня в России? кого сегодня направит его православная мораль?» — тем более, что «время авторитетов в России прошло». (Этот тезис они тоже давно и усиленно нагнетают, им просто позарез надо, чтобы в России никогда впредь не возникали моральные авторитеты: без этого насколько всем легче.) «Его пламенные речи к народу не услышит никто».

А вот тут, несмотря на 20-летнюю отлучку, я уверен, что — ещё как услышат! только не московская «элита» — а в провинции, в гуще народной, — для того и еду таким путём.

Однако в скептических предсказаниях западной прессы — есть и трезвость. За 20 лет моего изгнания и коммунистическая власть не уставала меня марать — настойчиво, всеми способами и при каждом случае. Да и в демократической печатности немало перьев настроено ко мне. И я еду без иллюзий, что сумею эту вкоренившуюся враждебность преодолеть при возврате — да и при остатке жизни.

Да вот пока что — ни «Обустройство», ни обращение к украинскому референдуму, ни интервью с Говорухиным не сгодились и ничего никуда не подвинули. И книги мои вглубь страны продвинулись мало, и «Красное Колесо», раздёрганное по журналам, сработать не смогло.

Да что там! Ещё и «Архипелагом» не насытили, всё текли жалобы: «Я фронтовой офицер в отставке, ровесник Солженицына. Его книги „Архипелаг ГУЛаг“ в Казахстане нет» (Казахстан, Толебенский р-н); «В продаже в книжных магазинах „Архипелага ГУЛага“ нет, на чёрном рынке купить не могу при своей пенсии» (Нижний Тагил); «Давно уже хочу прочитать „Архипелаг ГУЛаг“, но такой возможности до сих пор не предоставилось. В продаже нет, в библиотеке она постоянно на руках» (пос. Шушенское, Красноярский край); «Я к вам, мать четверых детей, обращаюсь с наболевшим вопросом. Я не могу купить книгу А. Солженицына „Архипелаг ГУЛаг“. Мне книга нужна, чтобы её прочитали дети, а не выросли дураками» (Усть-Илимск).

Приходится свои книги опередить собственными ногами.

Ногами... А в европейских наших с Алей поездках я ходил плоховато и выглядел старовато. Воротясь в Вермонт, ещё прошёл те две операции, без которых не рискнул бы ехать. С опасением думал, где ж набраться сил для пространного перемещения по России с весны и как бы от пятилетней стенокардии освободиться хоть на время? Убеждённо говорю: повседневная молитва, месяцами, — и вера в её исполнение. И вот, к решающей моей весне — я вдруг неузнаваемо окреп, по весне начал расхаживать по круто холмистым вермонтским дорогам — и стенокардии совсем не чувствую! Чудо.

В последнюю вермонтскую зиму, отдаваясь двучастным рассказам, взялся я ещё и свести воедино, что отстоялось во мне от русской истории XVII — XIX веков («Русский вопрос»). Многих горячих патриотов огорчит — а ведь так, было — так. И печатать — сразу на родине, в «Новом мире». Окончание статьи — уже о последней современности («...к концу XX века»). Вот и прожил я, додержался до изменений в России. Да — не такие грезилась... В иные часы овладевает мною уныние: не вижу, вообще ли выберется Россия из этой пропасти? И как же и кому её вытаскивать?

...Весной 94-го у нас в доме наступила «эпоха укладки» — архивов, книг, в сотни картонных коробок, коробок, заклеивания их ленточным «пистолетом» и росписью их боков опознавательными знаками и номерами (неизвестно когда придётся все их распаковать, так хоть знать, где искать нужное). — Тот год Ермолай работал на Тайване, в среде одних тайванцев, стал свободно говорить по-китайски. А к маю готовился, не возвращаясь в Штаты, сразу лететь во Владивосток на встречу с нами. — Игнат учился в консерватории, сразу по двум классам — фортепьяно и дирижирования, напряжённо, но счастливо, а прошлой осенью впервые гастролировал в Москве, Петербурге и Прибалтике. — Степан на 3-м курсе Гарварда изучал градостроительство, с параллельным курсом в Массачусетском Технологическом. Им ещё доучиваться. — А жадно ждал возврата на родину наш старший Митя: ведь он жил в России до 12 лет, теперь и память и привязанности остро тянули его.

Теперь вот ещё задача: попрощались мы с Европой — надо прощаться и с Америкой?

С окружными вермонтцами прошло очень тепло: в конце февраля пошли на их ежегодное городское собрание, и я искренне поблагодарил за терпеливое ко мне и дружеское соседство [7]. Передал им в библиотеку дюжину своих книг на английском, а они, неожиданно для нас, подарили нам мраморную плиту с выбитой сердечной надписью: что протягивают нашей семье руки на прощание, а если когда вернёмся — то вновь протянут с дружеским приветствием. Мы были тронуты, но: нет, не вернёмся, не вернёмся.

И вдруг — 18 марта — беспощадным ударом оглушила смерть Мити — мгновенная, от разрывного сердечного приступа, в 32 года! — такая же безвременная, как его прадеда, деда, дядёв по мужской линии. Ладный, красивый, в молодой силе. Так и застыл — на пороге возврата на родину, оставив вдову с пятимесячной дочерью Таней. Это было смятенное горе. Не только для семьи, для десятков повсюду друзей, но для всего нашего прихода. Похоронили его — в православном углу вечнозелёного клермонтского кладбища.

Так осталась у нас в Америке своя могила. Такое прощание...

...Но — с американской «элитой»? той читающей, пишущей, высокомерной, все годы так неотступчиво непримиримой ко мне? — тоже прощаться?

Уговаривали меня дать интервью CBS («без этого нельзя уехать из Америки»). Этого — совсем не хотелось давать — и правильно. Майк Уоллес задавал бесцветные, а затем и гадкие вопросы — всё в ту ж налаженную дуду десятилетий, — ничего интересного не получилось и никакого прощания со Штатами не вышло.

Но внезапно предложил интервью влиятельный журнал бизнесменов и финансистов «Форбс» (Павел Хлебников) — и тут я высказался от души*. Вот это и вышло моё прощание.

А кавендишское — внезапно разнеслось по всему миру, и посыпались мне отовсюду, отовсюду — заявки, заявки на интервью.

Нет уж, поздно. Никому больше. Теперь я настроился разговаривать — с русскими и в России.

Посол В. П. Лукин подал мысль всё же предупредить Ельцина о моём необычном маршруте. Убедил, вежливость требует. И я послал письмо через посольство [8].

А ещё получил я немало частных писем из России, призывающих меня идти в президенты. Были такие и газетные статьи.

* «Публицистика», т. 3, стр. 474 — 482.

Нет, намерения подобного у меня нет. И — не по возрасту, и не моё это дело. Администрирование — квалификация другая, нежели писательская.

Прощай, ласковый к нам, благословенный Вермонт! Однако остаться бы тут доживать — было бы закисание векторной судьбы. Напротив, я боялся дожить в Вермонте до смерти или до последней телесной слабости. Умереть — я должен успеть в России.

Но ещё раньше успеть — вернуться в Россию, пока есть жизненные силы. Пока — ощущаю в себе пружину. Есть жажда вмешаться в российские события, есть энергия действовать. Плечи мои ещё не приборолось, у меня даже — прилив сил. Только вот нарушается пословица: «Молодой на битву — старый на думу».

Еду я — быть может, на осмеяние, в духе сегодняшней безкрайней развязности прессы, журналистов, любых «комментаторов», кто хочет плюнуть. Но — оравнодушел я к тому за долготу двух травель — промеж двух жерновов.

А в друзьях своих числю — русские просторы. Русскую провинцию. Малые и средние города.

Что-то ещё успею сказать и сделать?

А книги мои, в правильно понятых интересах России, могут понадобиться и много позже, при более глубокой проработке исторического процесса. В бороздимых по России крупных чертах Истории есть своя неуклонимость, она ещё проявится.

Проявится какое-то позднее долгодействие, уже после меня.

И уж всяко помню Ломоносова: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют».

Вермонт.

Март — апрель 1994.

ПРИЛОЖЕНИЯ

[1]

ПИСЬМО С. П. ЗАЛЫГИНУ

2 августа 1988

Глубокоуважаемый Сергей Павлович!

1 августа получил Вашу телеграмму от 27 июля. Благодарю Вас за усилия, принимаемые Вами для напечатания моих романов в Вашем журнале.

И «Корпус» и «Круг первый» я, конечно, с радостью отдал бы «Новому миру», которому и предлагал их 20 лет назад.

Однако обвинение в «измене родине» (64 статья) мне было предъявлено — за «Архипелаг ГУЛаг». За него я был силой выслан в изгнание, длящееся уже пятнадцатый год. За него людей сажали в лагеря. Невозможно притвориться, что «Архипелага» не было, и переступить через него. Этого не позволяет долг перед погибшими. И наши живые соотечественники выстрадали право прочесть эту книгу. Сегодня это было бы вкладом в начавшиеся сдвиги. Если этого всё ещё нельзя, то каковы же границы гласности?

Мой возврат в литературу, разрешённую на родине, может начаться только с «Архипелага ГУЛага» — притом без сокращений и не показным изданием (для Кузнецкого моста и для Запада), а реальным массовым тиражом, — так чтобы по крайней мере в любом областном городе СССР и по крайней мере в течение года трёхтомник можно было бы свободно купить.

Я понимаю, что это не зависит от Вас. Но я пишу об этом именно Вам, поскольку Вы единственный, кто обратился ко мне. Может быть, Вы сочтёте возможным довести это до сведения тех, от кого вопрос зависит. Благодарю Вас заранее.

После напечатания «Архипелага» не было бы никаких затруднений печатать в «Новом мире» и «Корпус» и «Круг».

Мои самые добрые пожелания лично Вам и журналу.

С пониманием

Александр Солженицын.

[2]

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ С «МЕМОРИАЛОМ»

Москва, 5 сентября 1988

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

Просим Вашего согласия на вхождение в состав Общественного Совета по руководству созданием и работой мемориального комплекса жертвам беззаконий и репрессий.

В Совет по результатам опроса граждан избраны: Адамович, Юрий Афанасьев, Бакланов, Быков, Евтушенко, Ельцин, Карякин, Коротич, Лихачёв, Рой Медведев, Окуджава, Разгон, Рыбаков, Сахаров, Солженицын, Ульянов, Шатров.

Оргкомитет «Мемориала».

Кавендиш, 6 сентября 1988

Оргкомитету «Мемориала»

Избравших меня благодарю за честь.

Памяти погибших с 1918 по 1956 я уже посвятил «Архипелаг ГУЛag», за что был награждён обвинением в «измене родине». Через это нельзя переступить.

Сверх того, находясь за пределами страны, невозможно принять реальное участие в её общественной жизни.

Сердечный поклон.

Александр Солженицын.

[3]

СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ НЕЧЕМ ОТВЕТИТЬ НА «АРХИПЕЛАГ»*

Стэнфорд, Калифорния
18 мая 1976

За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами: потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом, — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении. Эту фальшивку начали подбрасывать иностранным корреспондентам, один из них переслал мне такую ксерокопию.

Хотя КГБ уже был однажды пойман на подделке моего почерка — никогда не бывшей моей переписки с эмигрантом В. Ореховым (журнал «Тайм» в мае 1974 привёл по строчке сравнения моего истинного почерка и успешно подделанного, а у

* Опубликовано в «Лос-Анджелес таймс» 24.5.1976.

меня на руках — полные письма, подделанные КГБ, по несколько страниц), они снова, не боясь позора, пошли по тому же пути. Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий *человек*, кто читал «Ивана Денисовича» или «Круг», или положит «Архипелаг» рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том «Архипелага» передаёт огненный дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе. Ложь КГБ так и составлена, чтобы внести раздор в единомыслие Восточной Европы: объединения наших сил больше всего и боятся коммунисты.

За 60 лет коммунистическая власть в нашей стране пристрастилась лпать всех, кого травила: что они — агенты охраны или сигуранцы, или гестапо, или польской, французской, английской, японской, американской разведки. Этим дурацким колпаком покрывали решительно всех. Но ещё никогда власти нашей страны не проявляли такой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве... с ними самими! с советским строем и кроворощенной его ЧК — ГБ! При всей советской военной и полицейской мощи — какое откровенное проявление умственной растерянности.

А. Солженицын.

[4]

30 августа 1991

Дорогой Борис Николаевич!

Пользуюсь надёжной оказией доставить это письмо Вам в руки.

Восхищаюсь отвагой Вашей и всех окружавших Вас в те дни и ночи.

Горжусь, что русские люди нашли в себе силу сбросить самый вцепчивый и долгодетный тоталитарный режим на Земле. Только теперь, а не шесть лет назад, начинается подлинное освобождение и нашего народа и, по быстрому раскату, — окраинных республик.

Сейчас Вы — в вихре событий и неотложных решений, всё сразу — важно. Но я потому смею вторгнуться к Вам с этим письмом, что есть решения, которых потом *не исправить* вослед. К счастью, пока я писал эти строки, Вы уже дали знать: что Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро — с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный Юг нынешней УССР (Новороссия) и многие места Левобережья никогда не относились к исторической Украине, уж не говоря о дикой прихоти Хрущёва с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец валят памятники Ленину, то почему держатся, как за священные, за ленинские фальшивые границы, прочерченные после Гражданской войны из тактических соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за её восстания 1921 г. и уральское и сибирское казачество за их сопротивление большевикам были насильственно отмежёваны от России в Казахстан.

Я с тем и спешу, чтобы просить Вас: защитить интересы тех многих миллионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. При Вашем огромном влиянии примите все меры, чтобы референдум на Украине 1 декабря был проведён полностью свободно, без всякого давления (оно очень возможно!), без искажений голосования — и чтобы результат его учитывался отдельно по каждой области: каждая область должна сама решать, куда она прилежит. И сразу слышим угрозы, со срывом голоса: «Это война!» — нет, только вольное голосование, которому все и должны подчиниться.

Да бесчестный ленинский совнарком, в обмен за мир и признание своего режима, поспешил (2 февраля 1920 г.) отдать и Эстонии кусок древней псковской земли со святынями Печор и Изборска, и населённую многими русскими Нарву. И теперь, без оговорок принимая отделение Эстонии, мы не можем увековечить и эту нашу потерю.

Я уже писал в «Обустройстве» год назад, что я не противник отделения союзных республик, и даже считаю это желательным для здорового развития России. Но федерация — это живое реальное сотрудничество народов в цельном государстве. А всплывшая теперь политическая «Конфедерация независимых государств» — искусственное образование, бессмыслица, и на практике обернётся (как Содружество наций для Британии) — отягощающим бременем для России.

И ещё срочное, Борис Николаевич! Крайне опасно сейчас поспешно принять для России какой-либо не вполне прояснённый экономический проект, который в обмен на соблазнительные быстрые внешние субсидии потребует строгого подчинения программе давателей, лишив нас самостоятельности экономических решений, а затем и скуёт многолетними неисчислимыми долгами. Опасаюсь, что такая программа Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка Реконструкции (известная у нас как «план Явлинского»). В невылазные тиски долгов попала Латинская Америка, и Польша, однако им долги невольно прощают, ибо с них нечего взять. Но России — не простят, а будут выкачивать наши многострадальные недра. А затем, попав во внешнюю экономическую зависимость, Россия неизбежно впадёт и в политическую несамостоятельность. Я — боюсь такого будущего для нашей страны. И сердечно прошу Вас: не разрешите отдаться одному упорно предлагаемому проекту, распорядитесь изучить и альтернативные. Например — план, активизирующий внутренние резервы страны, позволяющий нам обойтись без иностранных займов, — план, поддерживаемый Милтоном Фридманом, крупнейшим авторитетом западной экономики.

Крепко жму Вашу руку.

А. Солженицын.

[5]

Москва
24 сентября 1991

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

Благодарен Вам за письмо. Близка и понятна Ваша боль за состояние нашего Отечества, тревога за его будущее.

За прошедшие десятилетия Россия многое утратила из того, что составляло суть её жизни. Но уверен, удалось сохранить главное — великую жизнеспособность нашего народа, его душевные качества, глубокую веру в силу справедливости и добра. Страх, сковавший волю миллионов и миллионов наших граждан, всё-таки оказался слабее неутомимой тяги к свободе, и режим, казавшийся вечным, рухнул. Но он не унёс с собой порождённые им проблемы.

Мы уже приступили к реформированию народного хозяйства, хотя вопросов, стоящих перед нами, конечно, больше, чем ответов.

Убеждён, никто, кроме самих россиян, не выведет экономику республики из кризиса. Но мы не хотим восстанавливать экономический «железный занавес». И поэтому стимулируем привлечение иностранного капитала для восстановления различных отраслей народного хозяйства России.

События августа 1991 г. нанесли сильнейшие удары по коммунистической империи. Прежнего СССР уже не существует, но остались народы, столетиями жившие рядом. Сегодня стало особенно очевидно, что в недрах разваливающейся империи развивались отношения, основанные на равноправии, свободном выборе и взаимной заинтересованности в сотрудничестве.

Считаю, что это более прочная и здоровая основа для Союза, чем насилие и принуждение. Конечно, вероятность неудачи в создании нового Союза есть.

В этом случае Россия будет действовать, как и другие государства, в соответствии с международным правом. Мы уже учимся жить по-новому и, надеюсь, научимся.

Уважаемый Александр Исаевич, поздравляю с тем, что с Вас сняты наконец несправедливые обвинения.

Желаю Вам и вашей семье здоровья и благополучия. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем Вы будете сердцем откликаться на происходящее в России.

Б. Ельцин.

[6]

Кавендиш, 13 декабря 1993

Уважаемый Борис Николаевич!

Благодарю Вас за поздравление к моему 75-летию. С возвратом на российскую землю, может быть, мне удастся быть в чём-то полезным нашей измученной родине.

Надежду на духовную силу нашего народа не теряю и я. Но со страданием вижу грозное обнищание народного большинства, приватизацию в пользу избранных, всё идущий бесстыдный разграб национального достояния, густую подкупность государственного аппарата и безнаказанность криминальных шаек. И никак не видно, чтоб ожидалось близкое улучшение в этом кольце бед. Если не возьмёмся бесстрашно и бескорыстно бороться с этими язвами, одолевающими нас.

С добрыми пожеланиями

А. Солженицын.

[7]

ПРОЩАНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ КАВЕНДИША

28 февраля 1994

Граждане Кавендиша! дорогие наши соседи!

Семнадцать лет назад на таком же вашем собрании я рассказал, как меня изгнали с родины, и о тех мерах, которые я вынужден был принять, чтобы обеспечить спокойную работу, без назойливых посетителей.

И вы — сердечно поняли меня, и простили мне необычность моего образа жизни, и даже всячески оберегали мою частную жизнь, за что я вам был глубоко благодарен все эти годы напролёт и завершающе благодарю сегодня! Ваше доброе отношение содействовало наилучшим условиям моей работы.

Я проработал здесь почти восемнадцать лет — и это был самый продуктивный творческий период моей жизни, я сумел сделать всё, что я хотел. Часть моих книг, те, которые в хорошем английском переводе, я сегодня преподношу вашей городской библиотеке.

Наши сыновья росли и учились здесь, вместе с вашими детьми. Для них Вермонт — родное место. И вся семья наша за эти годы сроднилась с вами. Изгнание — всегда тяжело, но я не мог бы вообразить места лучшего, чем Вермонт, где бы ожидать нескорого, нескорого возврата на родину.

И вот теперь, этой весной, в конце мая, мы с женой возвращаемся в Россию, переживающую сегодня один из самых тяжёлых периодов своей истории, период нищеты большинства населения и падения нравов, период экономического и правового хаоса, — так изнурительно достался нам выход из 70-летнего коммунизма, где только от террора коммунистического режима против собственного народа мы потеряли до 60 миллионов человек. Своим участием я надеюсь теперь принести хоть малую пользу моему измученному народу. Однако предсказать успех моих усилий нельзя, да и возраст мой уже велик.

Здесь, на примере Кавендиша и ближних мест, я наблюдал, как уверенно и разумно действует демократия малых пространств, когда местное население само ре-

шает большую часть своих жизненных проблем, не дожидаясь решения высоких властей. В России этого, к сожалению, нет, и это — самое большое упущение до сегодняшнего дня.

Сыновья мои ещё будут оканчивать своё образование в Америке, и кавендишский дом остаётся пока их пристанищем.

Когда я теперь хожу по соседним дорогам, прощальным взглядом вбирая милые окрестности, то всякая встреча с кем-либо из соседей — всегда доброжелательна и тепла.

Сегодня же — и всем, с кем я встречался за эти годы и с кем не встречался, — я говорю моё прощальное спасибо. Пусть Кавендиш и его окрестности будут всё так же благополучны. Храни вас всех Бог.

[8]

Кавендиш, Вермонт
26 апреля 1994

Уважаемый Борис Николаевич!

Как Вы, может быть, знаете, я возвращаюсь в Россию со своей семьёй в конце мая, примерно через месяц. Я всегда верил, что возврат этот станет возможен при моей жизни, и ещё 20 лет назад задумал маршрут своего возвращения. А сейчас я считаю своим долгом заранее сообщить его — *совершенно доверительно* и только лично Вам.

Я буду возвращаться через Дальний Восток, неспешным путешествием по стране. Теперь, когда страна меняется так кардинально и стремительно, — знакомство с жизнью людей необходимо мне прежде каких-либо общественных шагов. И я особенно хочу начать с Сибири, которую я знал совсем мало и больше — из окна тюремного вагона.

Пишу я это Вам прежде всего для Вашего личного сведения, но также и с просьбой: не присылайте во Владивосток кого-то из Москвы для встречи: пока я буду ехать по провинции — я имею цель встречаться именно с местными людьми (в том числе и с Вашими представителями на местах). Таким образом, к приезду в Москву и к нашей возможной встрече с Вами, я надеюсь получить немало личных и свежих впечатлений от состояния страны и людей.

Всего Вам доброго!

Александр Солженицын.

